

Людоедка

Автор:

Николай Гейнце

Людоедка

Николай Эдуардович Гейнце

«- Беда, матушка-игуменья, беда... с сестрой Марьей... - вбежала в опочивальню игуменьи Досифеи, без предварительного стука в закрытую наглухо дверь, молодая послушница Серафима, любимица строгой старухи, и скорее по привычке, нежели по рассуждению, сделала перед своей начальницей три уставных земных поклона...»

Николай Гейнце

Людоедка

Часть первая

Исчадие ада

I

В келье игуменьи

– Беда, матушка-игуменья, беда... с сестрой Марьей... – вбежала в опочивальню игуменьи Досифеи, без предварительного стука в закрытую наглухо дверь, молодая послушница Серафима, любимица строгой старухи, и скорее по привычке, нежели по рассуждению, сделала перед своей начальницей три уставных земных поклона.

Игуменья Досифея, высокая, худая старуха, с бледным, изможденным постом и заботами лицом, правильные, точно вылитые из воска черты которого носили на себе отпечаток былой необыкновенной красоты, вздрогнула, повернулась к Серафиме и быстрым, тревожным взглядом окинула вбежавшую. Последняя прервала ее послетрапезную уединенную молитву.

Игуменья Досифея стояла коленопреклоненная перед небольшим аналоем, обтянутым черным сукном. На аналое лежало евангелие в черном кожаном переплете с серебряным крестом и такими же застежками и золотой крест.

Аналой был поставлен у переднего угла, занятого черного дерева киотом, помещенным на угольнике и заключающим в себе множество образов, иные в богатых серебряных и золотых ризах, а иные и ценнее того своею древностью и без окладов.

Строгие лица святых глядели на этих двух женщин. Лицо игуменьи Досифеи, вставшей с колен и уже силою воли, видимо, преодолевшей первый порыв волнения, с обычной строгостью обращенное на молодую девушку, имело сходство с ликами старинного письма, глядевшимися из киота.

Взгляд игуменьи Досифеи, взгляд, известный всем подвластным ей сестрам, заставил окаменеть вбежавшую послушницу и, казалось, влил в ее душу часть той страшной твердости воли и мужества, которые ярко светились в глазах ее начальницы. Видно было, как сбегали последние следы волнения с миловидного личика послушницы Серафимы.

Большие, черные с металлическим блеском глаза игуменьи Досифеи, глубоко сидевшие в орбитах, поражали всякого своею красотой и блеском молодости, а строгое, обыкновенно вдумчивое и порой проникновенное их выражение создало ей ореол «чтицы в сердцах», «провидицы» не только среди монастырских обитателей ниц, но и среди жителей Москвы и ее окрестностей.

Слава о строгой, святой жизни игуменьи Досифеи и ее прозорливости разнесена была, впрочем, странниками и странницами по всей России вплоть до далекой Сибири.

Это доказывалось списком жертвователей за время двадцатилетнего управления монастырем игуменьею Досифеей, среди которых самыми щедрыми вкладчиками были сибирские золотопромышленники, обращавшиеся к ней, дабы она помянула в своих молитвах этих погрязших в грехе и корысти служителей «золотого тельца».

– Что случилось? В час неурочный беспокоишь меня на молитве... – ровным, спокойным, но строгим тоном спросила игуменья Досифея.

– Благословите, матушка-игуменья, доложить.

– Благославляю...

– После трапезы пошла я, по вашему, матушка-игуменья благословению к матушке-казначее помочь ей подсчитать доброхотные приношения... Сегодня, слава-те Христос, наслали и нанесли много и деньгами и вещами... Разбирали мы их с матушкой-казначеей с час места... только один ящик, деревянный такой, заколоченный и тяжелый, а с чем неведомо... Матушка-казначая начала догадки строить: с пастилой, говорит, с яблочной... Хотели, значит, в кладовую сдать, только смотрю я, на нем надпись: «Марие Осиповой-Олениной». Доложила я матушке-казначее... «Кто же бы эта такая?» – спрашивает... «А это, – говорю я ей, – новенькая послушница Мария. Слышала я от нее, что по фамилии она Оленина». «Кто же бы это ей сластей прислал? Кажись, уже с полгода у нас, никто к ней ничего не слал и не ходил проведать даже...» – пустилась опять в догадки матушка-казначая... «Этого я не ведаю», – отвечала я... «Так отнеси ей, как до себя пойдешь, – решила матушка-казначая, – да скажи, что как полакомится малость, может в кадушку спрятать... Яблочная-то пастила нежная, глядь и испортится». Кончили мы разбираться, захватила я этот ящик, даже страшно вспомнить, прости Господин.

На лице послушницы Серафимы на одно мгновение пробежало выражение испуга и она замолчала, чтобы перевести дух и успокоиться. Игуменья Досифея бесстрастно слушала ее и, не сделав ни одного замечания, видимо, ждала продолжения.

Та продолжала:

- Вбежала я к сестре Марии, застала ее за пядями... «Матушка-казначей приказала передать тебе вот это... Гостинец тебе прислали...» «Гостинец, мне?» - воззрилась на меня сестра Мария и вдруг еще бледнее стала, почти помертвела... «Матушка-казначей, - говорю, - думает, что тут пастила, - продолжала я, - так говорит, чтобы ты малость полакомилась, а остальное в кадушку снесла». «Пастила, - повторила сестра Мария... - Если пастила, так погоди, я тебя угощу...» Стали мы с ней ножницами ящик открывать, открыли, да так и ахнули...

Снова ужас отразился на лице Серафимы. Теперь уже она не владела собой и задыхалась от волнения, не могла несколько минут выговорить слова.

Волнение это, видимо, сообщилось и игуменье Досифее.

- Что же было в этом ящике?.. - спросила она и голос ее дрогнул.

- Такие страсти, матушка-игуменья, такие страсти... - воскликнула дрожащим голосом Серафима.

- Какие же страсти?

- Мертвая рука...

- Мертвая рука?

- Мертвая рука, матушка-игуменья... Сестра Мария только ахнула и как пласт на землю хлопнулась, а как я из кельи ее выкатилась и к вам, матушка-игуменья, примчала, и не вспомню...

- Никому не болтала дорогой-то?

- Кому болтать, матушка-игуменья, ни души и не встретила.

- Пойдем вместе, дай рясу, клобук и костыль. Серафима быстро подала требуемое и помогла облачиться игуменье.

– Благословите взять кого еще, матушка-игуменья, мне одной-то боязно.

– Чего боязно, ведь со мной... Да и чего бояться мертвых, живых бояться надо...

Разговор этот происходил 1 октября 1762 года, в Москве, в келье игуменьи Новодевичьего монастыря.

Скажем несколько слов об этом историческом памятнике и древней святыне первопрестольной столицы. Новодевичий монастырь находится на Девичьем поле, на берегу Москвы-реки, против Воробьевых гор. Он был основан в 1524 году великим князем Василием Иоанновичем, в память знаменательного в нашей истории события – взятия Смоленска и присоединения его к Российской державе.

Великая княгиня Софья, супруга великого князя Василия Дмитриевича, была в 1398 году в Смоленске, для свидания со своим отцом великим князем Витовтом, и при возвращении в Москву, между прочими дарами, благословлена от него иконою Смоленской Божией Матери – Одигитрии (Путеводительницы).

Древний и чудотворный этот образ находился с тех пор в Благовещенском соборе в иконостасе, подле царских врат, а через восемь лет после того, по просьбе смоленского епископа Михаила, бывшего в свите посольства от польского князя Казимира к великому князю Василию III, святыня эта возвращена в Смоленск, а список с нее оставлен в Благовещенском соборе.

28 июля 1456 года настоящую икону, с торжественным крестным ходом сам великий князь с детьми, митрополит всея Руси святой Ионой, с духовенством и народом проводил до бывшего тогда в предместье Москвы Савина монастыря, и с того же времени установлен в воспоминание об этих проводах крестный ход 28 июля, который совершается в Москве и ныне.

Когда в 1514 году древний русский город Смоленск, бывший более ста лет под властью Литвы, возвращен великим князем Василием Иоанновичем, великий князь, в знак благодарности к Всевышнему за такой успех своего оружия, предпринял намерение соорудить церковь в честь Смоленской Божией Матери и монастырь на том месте, до которого эта икона была сопровождена его дедом.

Обитель, как мы сказали, основана в 1524 году, а по совершенном окончании построек в следующем 1525 году, 28 июля, с обычным крестным ходом перенесен туда из Благовещенского собора список с чудотворного образа.

Великий князь отдал в пользу новой обители несколько дворцовых сел и деревень. Преемники его тоже обогащали этот монастырь, в котором искали спасения несколько царственных особ женского пола.

В 1536 году в нем приняла иночество вдова брата царя Иоанна IV, княгиня Иулияния Дмитриевна и жила в построенных ей царем богатых келиях – она там и погребена; царица Ирина Федоровна, по кончине супруга своего, царя Федора Иоанновича, не внемля молениям бояр и духовенства, постриглась в иночество в сей обители и затворилась в келью, и с нею вместе и брат ее Борис Годунов, перешедший отсюда 30 апреля 1598 года в Кремлевский дворец на царство, согласно избрания духовенства, бояр и народа.

Спустя двенадцать лет, когда поляки властвовали в Москве, Новодевичий монастырь был свидетелем многих кровопролитных битв и стены его служили крепостью попеременно русским и полякам. Наконец, монастырь был разорен и сожжен.

Царь Михаил Федорович, по вступлении на престол, возобновил его.

Царевна Софья Алексеевна была в этом монастыре пострижена в схиму под именем Сусанны и окончила жизнь в 1704 году; она здесь и погребена.

В этом же монастыре покоятся бранные останки царицы Евдокии Федоровны, первой супруги Петра Великого, которая жила здесь около четырех лет.

Здесь же погребены: царевна Анна, дочь царя Иоанна IV, царевна Татьяна, дочь царя Михаила Федоровича; две сестры Петра Великого царевны: Евдокия и Екатерина, первая игуменья этой обители схимонахиня Елена Девочкина, современница ее монахиня Феофания; юродивый Иаков, боярин Богдан Матвеевич Хитрово; многие из фамилий Салтыковых, Головиных, Шереметьевых, князей Воротынских, Голицыных, Струйских, Кубенских, Турунтаевых и других.

В Новодевичьем монастыре было при Петре I учреждено заведение для приема и содержания подкидышей и непризорных детей. Впоследствии времени

заведение это – зачаток нынешнего воспитательного дома – рушилось.

II

Мертвая рука

Мерною, твердою походкою вышла игуменья Досифея, в сопровождении Серафимы, шедшей в почтительном отдалении, из своей кельи спустилась по лестнице на двор монастыря, так как послушница Мария, получившая такой странный и вместе страшный гостинец, жила во флигеле, противоположном тому главному монастырскому корпусу, где находились покои матушки-игуменьи.

Был четвертый час зимнего дня и солнце уже закатилось за горизонтом чистого, безоблачного неба, отражая свои последние бледные лучи бесчисленными блестками на опущенных снегом, но еще не потерявших всю свою пожелтевшую листву деревьях монастырского кладбища.

Монастырский двор, покрытый недавно выпавшим свежим девственным снегом, был совершенно пуст. Кругом было тихо. Время после трапезы сестры монахини отдавали молитве или сну. Молодые послушницы, ведомые твердой рукой матери Досифеи по пути к спасению, тоже не смели нарушать эти часы душевного и телесного покоя.

Легкий шум шагов двух женщин только один раздавался среди царствующей кругом невозмутимой тишины.

Во флигель, где жила послушница Мария, было несколько оживленнее: при приближении к нему игуменья Досифея и послушница Серафима услышали беготню, возгласы и даже плач.

Но вот из двери коридора, ведущего на двор, выглянуло молодое личико и быстро скрылось. Во флигеле узнали о приближении матушки-игуменьи и в нем сразу все стихло. Мать Досифея, со своей спутницей, поспешно поднялась на крыльцо и вошла в коридор. Из кельи Марии промелькнула еще одна черная

фигура и скрылась в глубине коридора. Это была, видимо, одна из последних любопытных.

Игуменья и послушница подошли к оставленной полуотворенной двери кельи Марии, растворили ее и вошли. Глазам их представилась тяжелая картина.

Распростертая навзничь, на полу лежала бесчувственная молодая девушка. Черная одежда монахини как-то особенно оттеняла нежное, белое лицо, которое в тот момент было, что называется, без кровинки.

Лежавшая была положительно красавицей, в самых цветущих годах. Ей можно было дать двадцать лет с небольшим и ее несколько старило выражение ее прекрасного, с тонкими, правильными чертами лица, выражение, в котором можно было прочесть целую повесть перенесенных нравственных страданий. Ее высокая, статная фигура была худа той худобой, которая является или результатом болезни, или же тяжелой жизни. Казалось, что для этого чудного, поблекшего под жизненными невзгодами цветка, нужен был лишь теплый луч солнца, чтобы он на гордом стебле поднял свою роскошную головку, оживив окружающую местность.

Глаза лежавшей были закрыты и длинные ресницы оттеняли впавшие от худобы орбиты. Дыхания не было заметно, – лежавшая казалась мертвой.

Убранство маленькой комнаты, служившей кельей, было более чем просто: кровать, стол и несколько стульев из окрашенного в черную краску дерева и такой же угольник с киотом, в котором находилось распятие и несколько образов – вот все, что служило мебелью этого уголка красавицы-послушницы. У окна, впрочем, стояли небольшие пьалы с начатым вышиваньем шерстью.

Мария, видимо, была за работой, когда послушница Серафима принесла ей роковой гостинец. Ящик с этим гостинцем до сих пор стоял на столе, а крышка от него валялась у ног лежавшей. В сколоченном из досок длинном ящике, напоминавшем узенький гробик, именно в таком ящике, в котором в Москве продают яблочную пастилу, что и ввело в заблуждение мать-казначею, набитом деревянными стружками, положена была обнаженная мужская рука, отрубленная до локтя. На безымянном пальце этой руки блестело золотое кольцо с крупным изумрудом.

Игуменья Досифея сделала несколько шагов по направлению к этому столу. Молодая послушница пугливо остановилась у порога.

– Сбегай-ка мне за спиртом да принеси воды, – ровным голосом, в котором не слышалось ни смущения, ни тревоги, обратилась мать Досифея к Серафиме.

Та быстро вышла исполнить приказание.

Игуменья, оставшись одна перед полумертвой, а быть может и мертвой девушкой и роковым присланным ей чьей-то злобной рукой гостинцем – мертвой рукой, казалось, не обращая никакого внимания на первую, подошла к ящику и несколько минут пристально всматривалась в лежавшую в нем руку.

Рука принадлежала, видимо, молодому человеку, не из простых, на что указывала форма длинных пальцев с изящными, правильными, хотя и посиневшими ногтями.

– Ужели это его рука? – чуть слышно прошептали губы старо монахини. – Бедная, бедная!

При последних словах она вдруг вся встрепенулась, и ее чудны глаза обратились к стоявшему в киоте распятию.

– Господи, прости мое согрешение... Не горевать о несчастной Марии, а радоваться за нее надобно мне... Неисповедимы пути Твои, Господи, Ты, допустивший его принять злую смерть от руки преступницы, уготовил, быть может, ему жизнь вечную, а поразив сердце несчастной рабы твоей Марии, сердце, где гнездилась земная плотская любовь очистил его для полноты любви к Тебе, Предвечный, который Сам весь любовь... Жив ли он или мертв, что в этом... Если Ты уже призвал его, значит, такова воля Твоя... Да исполнится она на небесах и на земле...

Этим возгласом души старой монахини, на мгновенье допустившей себя до мысли с земным оттенком, всецело объяснялось невнимание к лежавшей у ее ног бесчувственной жертве людской злобы. Мать Досифея умолкла, но, видимо, мысленно продолжала свою молитву. Глаза ее были устремлены на Божественного Страдальца, и это лицезрение, конечно, еще более укрепляло в сердце суровой монахини идею духовного наслаждения человека при

посылаемых ему небом земных страданиях.

– Слава Тебе, Господи, слава Тебе! – по временам шептали ее губы.

Эту молитву нарушила возвратившаяся послушница.

– Не позвать ли кого на помощь, матушка?.. – робко задала игуменье вопрос Серафима.

– Никого не надо, управимся одни; подними доску и закрой ящик... – сурово сказала мать Досифея.

Молодая послушница на мгновение как бы окаменела, получив это приказание, и подняла умоляющий взгляд на игуменью. На лице последней она прочла ее обычную строгость.

– Слышишь... – уже повышенным тоном произнесла мать Досифея, как бы угадав трусливое колебание подчиненной.

Дрожащими руками подняла Серафима с полу доску и положила на ящик. Она сделала это с закрытыми глазами, чтобы не видеть его страшного содержимого.

– Теперь помоги мне поднять Марию... – сказала игуменья.

Обе женщины бережно подняли молодую девушку и донесли до близ стоящей кровати. Мать Досифея стала мочить ей виски водой и дала понюхать нашатырного спирту.

Долго эти средства не производили своего действия, да и сама мать-игуменья, как бы что вспомнив, отошла от все еще лежавшей без чувств Марии и обратилась к Серафиме, приютившейся в уголке и, дрожа от страха, поглядывающей на роковой ящик.

– Поди-ка позови Ананьича!..

Серафима, видимо, с большим удовольствием покинула комнату со страшным ящиком.

Ананьич был монастырский дворник, сторож и могильщик, он жил в сторожке на кладбище, и на его обязанности было нанимать поденщиков-могильщиков, в случае надобности. Под его руководством сестры послушницы мели двор и дорожки кладбища, а также наблюдали за могилами. Звали его Петром, но кажется он сам позабыл свое имя и откликался лишь на отчество «Ананьич». Это был древний, хотя и крепкий старик, с длинными, седыми как лунь, волосами и такой же бородой, доходившей до пояса. Жил он в монастыре много годов, хотя, по его собственным словам, приютился в этой обители «по старости». Связи со всеми, что было за монастырской оградой, кроме, как мы уже сказали, найма поденщиков-могильщиков, и то всегда самих наведывавшихся к Ананьичу, последний не имел. Раза два в год, впрочем, его навещал красивый молодой парень, являвшийся то в истрепанном зипуне, то в новом щегольском кафтане.

Парень считал себя племянником Ананьича. Считал ли последний его таковым – неизвестно, но прием со стороны Ананьича этого, хотя и редкого, гостя не был никогда не только горячим, но даже приветливым. Несмотря на это, каждый раз Ананьич при посещении «племянника» отворял свою укладку и из дальнего ее угла вынимал женский чулок, в котором у него хранились деньги, и совал несколько монет в руку парня. Тот уходил, не сказав даже «спасибо». Ананьич провожал его угрюмым взглядом. За этим-то Ананьичем и послала игуменья Досифея послушницу Серафиму.

Через несколько минут он вместе с последней уже стоял перед игуменьей, одетый в нагольный тулуп, служивший ему уже десятки зим, держал в руках рванный треух.

– Слышал, Ананьич?.. – обратилась к нему Досифея.

– Слышал, матушка, слышал, дерзкое злодейство и надругательство... – прошамкал старик.

– Так ты, Ананьич, заколоти да схорони за оградой, да чтобы никто не знал, никому об этом ни гугу...

– Зачем зря болтать... матушка... Не ровен час... Самому расхлебывать ведь придется... – заметил Ананьич и, бережно взяв под мышку ящик, поплелся из комнаты.

Игуменья Досифея дождалась, когда двери кельи затворились за ним, снова подошла к бесчувственной Марии и стала уже с большей энергией и старанием приводить ее в чувство. Холодная вода и нашатырный спирт, наконец, возымели свое действие. Несчастливая вздрогнула и открыла глаза.

- Убили, убили... - прошептали ее губы.

- Ты подь себе... - обратилась мать Досифея к Серафиме.

Та не заставила себе повторять приказание и быстро выскользнула из комнаты, плотно затворив за собою дверь. Игуменья Досифея и послушница Мария остались с глазу на глаз.

III

Московское бесправие

Приказание Ананьичу, отданное игуменьею монастыря, ясно клонившееся к скрытию несомненно только что совершенного зверского преступления, на современный взгляд, являлось более чем странным, почти невозможным.

Для того чтобы понять, что игуменья Досифея действовала далеко не по-женски, а с «рассуждением», необходимо очертить, хотя несколькими штрихами, правовую жизнь России описываемого нами времени.

Русский народ и правительство доживали ту эпоху, которую можно назвать эпохою отсутствия сознания законности. Мало кто верил или надеялся на силу закона. Боялись лиц, облеченных правительственной властью, без всякого к ним внутреннего уважения, и то только тех, которые заявили о себе каким-нибудь энергичным действием, хотя бы и не вполне законном. Существовало полное убеждение, что произвол и сила личности выше всякого закона.

Это грустное явление существовало во всей России, особенно же в Москве, где сосредоточивалась народная жизнь, торговля и остатки центрального суда и расправы.

Петербург в то время все более и более стягивал к себе все умственные и деятельные силы; на берегах Невы развивалось что-то похожее на европейскую жизнь, а с нею и администрация принимала другие формы. Петербург строился, учился, торговал с иноземцами – все кипело там новою жизнью, а старушка-Москва была забыта, как деревня богатого помещика, выехавшего из нее навсегда и вспоминающего о ней иногда, при случае, когда приказчик напомнит.

При таком неблагоприятном положении, произвол личный, от большого человека до малого, развивался до невероятия: взяточничество признавалось как формальность законная, неизбежная, и безнаказанность служителей правосудия была полная.

В половине восемнадцатого столетия разбои, убийства, воровство и мошенничество развились в Москве в огромных размерах. Со всех сторон, зимою и летом, собиралось в Белокаменную то особое население, которое встречается во всех больших городах и существует за счет ближнего: обманом, воровством, насильственным отнятием собственности.

Москва, в окружавших ее слободах, населенных тяглецами, людьми обедневшими, давала безопасный приют всем беглым и беспаспортным, а таких было много, потому что бегство было единственным средством избавиться от тягостей крепостного права, в единичных случаях доходившего до истязаний. Бегало много и от рекрутства, которое было ненавистно русскому народу.

Днем бродили «гулящие» люди по Красной площади, в Охотном ряду, на крестцах, в рядах, по торговым баням. Ночью они грабили шайками. Темные, неосвещенные улицы и переулки, с деревянными, полусгнившими мостовыми, а большая часть и совсем без мостовых, грязные пустыри, дворы, разрушенные и покинутые после пожаров, облегчали дерзкие ночные разбои, давая легкое средство скрываться, а полное неустройство полицейского надзора ободряло грабителей.

Ворам и мошенникам нужны тесные местности и толпа, а эти условия в некоторых пунктах Москвы исторически сложились со всеми удобствами для промышляющих чужою собственностью.

На Красной площади, с самого раннего утра копошился народ между беспорядочно построенными лавками и шалашами; здесь и на крестцах

производилась главная народная торговля; здесь бедный и расчетливый человек мог купить все, что ему было нужно, и за дешевую цену, начиная с съестных припасов, одежды и до драгоценных камней, жемчуга, золота и серебра. В уменьшенном виде это продолжается и теперь на толкучке у Пролома.

Вглядитесь в эту сплошную толпу и перенесите ее в своем воображении к Лобному месту и к монументу Пожарского и Минина, тогда не существовавшего, и вообразите толпу в десять раз более, и вот вам Красная площадь. То же, но в меньшем размере, происходило около Охотного ряда и на Неглинной, которая в то время еще давала воду мельнице у Воскресенских ворот.

Торговые бани собирали к себе, по русскому необходимому обычаю, постоянно много народа, но они были на окраинах тогдашнего города, в слободах. Внутри же города, в харчевнях, в пирожных, народ толпился с утра до ночи, а в фортинах в продолжение всей ночи сидели пьяные. Харчевни и винные очаги существовали не только вблизи рядов и Гостиного двора, но и между рядов, в самых жилых местах и внутри Гостиного двора, от чего не один раз случались пожары. Так в 1735 году от одного винного очага едва не сгорел весь Гостиный двор. В харчевнях печи большею частью устраивают без труб, а дым выходил из окна.

На Красной площади, против комендантского дома, было три очага, на которых жарилась для проходящих рыба; в Заречье, в рядах около Гостиного двора, существовали 61 харчевня и 16 винных очагов.

Особенно много было харчевен и шалашей около Василия Блаженного вниз по Москве-реке, против щепетильного и игольного рядов, тут от них была даже теснота для проезда.

Люди всякого чина и подлый народ толпился на Красной площади, в рядах, на крестцах, в харчевнях, а между ними промыслом своим занимались воры и мошенники: воровали из карманов, из лавок и шалашей и тут же торговали украденным.

Присмотр полицейских был ничтожен, а московская губернская канцелярия и полицеймейстерская были так обременены судными и разными делами, что судопроизводство шло медленно и беспорядочно, не говоря уже о злоупотреблениях.

Ввиду этого, в 1730 году, по велению императрицы Анны Иоанновны, был учрежден сыскной приказ.

Приказ учредили, но дела пошли не лучше, и воры и мошенники появились в увеличенном числе, приобрели новых покровителей, а подьячие были особенно важны по воровским делам, так как исполняли роль следователей и им поручалось исследование многих татинных и убийственных дел. Сверх того, дела следственные и розыскные нисколько не сосредоточивались в сыскном приказе или полиции. Московская губернская канцелярия не выпускала также из своих рук такие хлебные дела. Неурядица царила повсюду, а особенно в среде самой полиции, по причине ее малочисленности и самой ее организации.

Главные деятели полиции, особенно ночью, были рогаточные караульные, сотские и пятидесятские; все они были преимущественно выбираемы и назначаемы полицией из дворовых людей и крестьян помещиков, имевших свои дома на улице.

Полицейские избы или будки существовали только на главных улицах и то не при всякой рогатке; в холод, в дождик, рогаточный караульный спокойно уходил себе спать на свой двор; дисциплины между рогатниками не существовало: вместо одной инстанции явились две, полицейское управление и сыскной приказ.

Обворованные, ограбленные кидались и туда и сюда, и не только нигде не находили содействия, но часто не получали обратно своих вещей, хотя вор и был пойман с поличным.

Обыкновенно, в таких случаях подьячий с офицером выбирали себе из поличного то, что им нравилось, а остальное отпускали на поруки и делу конец. Понятно, почему обращение к таким исполнителям земного правосудия в описываемую нами эпоху считалось не только бесполезным, но даже опасным.

«Волокита по судам и расправам» не только среди простого народа, сохранившего до сих лет исторический страх к судам, но и для высших классов общества и учреждений представлялась тяжелым мытарством, которого старались избежать всеми дозволенными и недозволенными законом силами и средствами.

Игуменья Досифея действовала в этом случае, охраняя монастырскую казну от заgreбистых лап полицейских и подьячих. При одной мысли, что случилось бы с монастырскими кладовыми и с заветной монастырской кубышкой, если бы, паче чаянья, было обнаружено, что одна из послушниц получила такой страшный подарок, и было бы наряжено следствие, поднимались дыбом волосы на голове игуменьи Досифеи.

Несомненно, что всему этому явились бы полновластными хозяевами полицейские и подьячие и не на долго бы хватило все скопленное в долгие годы.

Понимал это и Ананьич, но кроме интересов монастыря, он в данном случае соблюдал и свои собственные, оберегая, как говорит русский народ, «свою шкуру».

«Что взять с бабья, – рассуждал старик, неся под мышкой роковой ящик, – окромя денег да провизии; поп да дьякон тоже не отвечают, значит, тебе одному, Ананьич, придется ответ держать... Как, отчего, почему?»

Что значило в описываемое нами время держать ответ, тоже было хорошо известно Ананьичу, увы, по горькому опыту. Допросы с пристрастием, дыбы, морские кошки, все эти страшные орудия пытки восставали в уме старика и холодный пот струился по его лбу.

«Спрячу-ка я его под печку до вечера, а как стемнеет, выйду за ограду, выкопаю ямку и схороню, а то теперь, неровен час, гуляющий какой человек ненароком на поле попадетсЯ, увидит, беда неминучая...»

Он уже подходил к своей сторожке, как вдруг ящик выпал у него из рук, крышка отлетела в сторону и мертвая рука, выпавшая из ящика, как-то, показалось ему, особенно грузно шлепнулась на землю.

Перед ним как из земли вырос ненавистный ему племянник.

Скажем несколько слов об этом, хотя и не главном действующем лице нашего повествования, но все же долженствующем играть в нем в будущем некоторую довольно значительную роль.

Это был рослый, белокурый парень, с добродушно плутоватым лунообразным лицом; серые глаза его, в общем большие и красивые, имели какое-то странное отталкивающее выражение, они как-то неестественно бегали и в них мелькали какие-то дикие огоньки: они напоминали глаза дикого зверя, каждую минуту готового броситься на добычу. Звали его Кузьмой Терентьевым, по прозвищу Дятел.

Ананьич стоял как пригвожденный к месту и с каким-то паническим ужасом, широко раскрытыми глазами смотрел на Кузьму, бегающие глаза которого так и прыгали, так и горели, так и сверкали, перебегая с мертвой руки и особенно с блестящего на ней кольца на Ананьича и обратно.

Прошло несколько минут томительного молчания. Ананьич не шелохнулся.

– Дела, дядюшка, у вас завелись, делишки, не монастырские... За такие дела не хвалят, об них ой-ой как кнут плачется... – с гаденьким смехом, наконец, заговорил Кузьма.

Ананьич молчал.

– Да ты, дядюшка, не бойся, я не доносчик, не выдам, чай, схоронить нес, по благословию вашей хрычевки... так я тебе дело-то это оборудую в лучшем виде и ничего за это не возьму, кроме перстенька этого, ему он, мертвецу-то, не надобен...

– Снимешь?.. – прохрипел, а не проговорил Ананьич.

– Вестимо сниму... Глядеть на него, что ли...

– Нет уж, это шалишь, не дам... – вдруг, в припадке какого-то неистовства, вскрикнул старик и, быстро подняв руку, спрятал ее под полу своего полушубка.

– Ну, это ты, дядюшка, оставь... – спокойно произнес Кузьм и, взяв старика одной рукой за шиворот, тряхнул его так, что старик не успел опомниться, как лежал навзничь, лишившие чувств от сильного удара головой о землю.

Когда он очнулся и поднялся с земли, парня с мертвой рукой простыл и след. Ящик и крышка валялись невдалеке.

IV

Таинственная послушница

Мария открыла глаза и помутившимся взглядом оглядевшись кругом, остановила его на игуменье Досифее. Старая монахиня стояла над ее изголовьем и молча, строгим, сосредоточенным взглядом смотрела на больную.

- Это она, людоедка... - слабо произнесла последняя.

- Не осуждай, дочь моя, не суди да не судима будешь, - начала было своим металлическим голосом игуменья, но вдруг оборвала свою речь, увидев, что несчастная девушка снова была в забытьи.

Ни вода, ни спирт, пущенные было опять в дело матерью Досифеей, не помогали. Больная металась на постели с раскрасневшимся лицом, с открытыми, устремленными в одну точку глазами. Бессвязный бред слетал с ее уст.

- Убили, убили... Вот она, здесь, идет... Нож в руках... Он в крови, в крови, Дарья, Дарья, людоедка...

Игуменья Досифея некоторое время беспомощно стояла около больной и прислушивалась к вылетающим из уст несчастной странным словам...

- Не поймет, старая, ничего... Надо позвать, кажись горячка у ней...

Больная в это время несколько успокоилась.

Мать Досифея взяла со стены чистый ручник, бережно покрыла им лицо больной и тихо вышла из кельи, плотно притворив за собою дверь. Медленным шагом спустилась игуменья с лестницы, перешла двор и возвратилась в свои покои.

Серафима сидела в передней.

- Поди-ка, кликни ко мне мать Агнию, - обратилась к ней Досифея.

Серафима быстро вышла и через четверть часа вернулась с маленькой, худенькой старушкой, рясофорной монахиней, почтительно в пояс поклонившейся игуменье Досифее.

Это и была мать Агния, известная в монастыре под именем «целительницы». Уже около полувека жила она в стенах монастыря, поступив в него молодой женщиной, после смерти мужа и двух сыновей, в течение одного года сошедших один за другим в преждевременную могилу. Почти полупомешанная прибегла она под покров Пресвятой Девы и Владычица Небесная сделала по молитве ее; Елена Дмитриева, так звали мать Агнию в миру, успокоилась, но на всю жизнь дала обет посвятить страждущему человечеству - ходить за больными стало ее призванием. Присмотревшись к болезням, она стала со временем искусно применять и средства от них, средства, конечно, не научные, а народные, которые, впрочем, зачастую бывают полезнее первых. Бабы и девки окрестных деревень, в особенности Воробьевых гор, приносили сперва сестре Елене, а затем, после большого пострига, матери Агнии, полевые и лесные травы, которые монахиня-целительница сортировала и сушила в своей келье.

Слава о почти чудодейственном лечении матери Агнии облетела всю Москву и ежедневно множество недужных приходили искать у нее облегчения, не оставляя, конечно, труда целительницы без посильного вознаграждения. Последнего, впрочем, мать Агния не брала лично. Деньги больными опускались в прибитую у дверей кельи кружку, а из нее, по желанию самой Агнии, поступали в общие монастырские суммы. В общую монастырскую кладовую отправлялись и приношения натурою: крупа, мука, масло, рыба и прочее.

Эта-то Агния-целительница и стояла теперь перед игуменьей Досифеей.

В коротких словах рассказала последняя о происшествии с послушницей Марией и высказала предположение, что у нее горячка.

- Это, матушка-игуменья, ты поистине, - заметила старуха, уже давно всем, несмотря на лицо и положение, говорившая «ты», - беспрерывно от такого переполоху огневица схватит.....

Только какой же враг ей прислал посылку-то...

– Это уже не наше дело, мать Агния, допытываться; больна она, так пользоваться ее надо, а не допросы чинить, мы ведь не подьячие, – грозно сверкнув глазами, прервала ее на полуфразе: Досифея.

Мать Агния, видимо, оторопела.

– Вестимо дело, матушка, не наше это дело... Я так, к слову только; если подьячие-то в монастырь дорожки протопчут, тоже будет дело не хвали... Видела я раз, такое дело было тут, годов назад тридцать... – начала снова Агния, но снова была резко остановлена игуменьей.

– И это, матушка Агния, не твоя забота... Дорожки сюда подьячим не протоптать, коли и старые, и молодые будут уметь держать язык за зубами...

Старушка поняла намек и после некоторой паузы произнесла:

– Благословите, матушка-игуменья, посмотреть болящую...

– Серафима, проводи...

Послушница и мать Агния вышли. Игуменья Досифея снова удалилась в свою спальню и опустила коленапреклоненная перед аналоем в горячей молитве.

О чем молила она?

Просила ли она Всемогущего Бога утешить скорбь молодой души послушницы Марии? Оставить жить ее только в Себе и для Себя, или же взять ее в Свое лоно и по несказанному Своему милосердию, простить ей земную привязанность, сотворение на земле кумира? Обращалась ли она к милости Божией за совершивших злое дело, пресекших неповинную жизнь, повинуюсь лишь низкому мщению?

По почти хладнокровному отношению игуменьи Досифеи к совершившемуся в монастыре из ряда вон выходящему событию, видно было, что начальница

монастыря знала многое из прошлого своей послушницы, и это многое не сделало присланный последней страшный гостинец неожиданностью.

Знала, но умела, по ее собственному выражению, держать язык за зубами.

Совсем иное впечатление произвело происшествие с сестрой Марией на остальных обитательниц монастыря. Весть о полученном «гостинце» с быстротою молнии облетела все монастырские кельи и насмерть перепугала сестер. И без этого рокового происшествия «новенькая послушница», как звали Марию, была окружена в монастыре ореолом таинственности.

С полгода тому назад появилась она в монастыре, привезенная в богатой карете, с гайдуками в ливреях на запятках, с каким-то важным барином, в шитом золотом кафтане, при орденах, и вместе с ним проведена в покои матушки-игуменьи. Около часу беседовал с последней привезший Марию сановник, вышел, сел в карету и укатил, и Мария одна осталась у матушки-игуменьи.

Послушницы, находившиеся тогда при матушке Досифее, передавали потом, что целый день, вечер и даже час ночи матушка-игуменья сидела, запершись в своей опочивальне, с приезжей гостьей, которая и провела даже там свою первую ночь в стенах монастыря.

Наутро игуменьею отдано было приказание приготовить одну из комнат, отводимым проезжим важным богомолкам, под келью новой послушнице Марии. Она не была отдана под начало ни одной из старых монахинь, как это было в монастырских обычаях. Сама игуменья взяла ее под свое начало.

Увидели вскоре, что это «начало» было далеко не строгим, как на первых порах ожидали все сестры, зная суровость своей настоятельницы. Многие даже сожалели, в этом случае, молодую женщину, сумевшую привлечь к себе сердца своей красивой внешностью и ласковостью обращения, а иные догадывались, что она нераскаянная грешница, исповедала своей грех перед матушкой-игуменьею, которая-де и не решается поручить ее исправление ни одной из старших сестер. Отсутствие строгости к «новенькой послушнице» поставило всех в тупик.

Заметили даже, что игуменья Досифея обращалась с Марией с какой-то далеко не свойственной ей нежностью, и глаза ее, обращенные на молодую женщину,

порой теряли свой металлически-суровый блеск.

Эти отношения игуменьи к послушнице породили новые, уже несообразные толки. Основанием некоторые из них имели даже Петербургские события, о которых людская молва, уподобляемая Русским народом морской волне, донесла отголоски и в стены московского девичьего монастыря.

Это время было нового царствования Петра III, его более чем странных отношениях к своей супруге, впоследствии Великой Екатерине, и к фрейлине Елизавете Воронцовой.

Подобно снежному кому, придворная сплетня, украшенная и преувеличенная, прокатилась из конца в конец необъятной России. На канве этой-то сплетни вышивали свои узоры досужие монахини Новодевичьего монастыря. Они передавали друг другу шепотом, с таинственным видом, свои предположения о личности новой послушницы и охали и ахали над вопросом о людской судьбе, одним мановением своим могущей низвергнуть с высоты царских палат в земное ничтожество монастырской кельи. Как всегда бывает, все, казалось им, подтверждало их предположения.

Богатая карета с ливрейными гайдуками, сановный старец Бестужев, – некоторые даже узнали его имя, – лицо, имевшее силу при петербургском дворе, привезший таинственную послушницу – все было доказательством не только правдоподобия, но прямо-таки истины их догадок. Некоторые молодые послушницы, в числе которых была и знакомая нам Серафима, старались сойтись со своей новой подругой, но заметили, что матушка-игуменья косо смотрит на такое сближение, да и сама Мария была не из разговорчивых. Узнали только, что зовут ее Марией Осиповной Олениной.

Это имя несколько разочаровало сестер, хотевших видеть в новой послушнице, согласно своим предположениям, лицо высокопоставленное, но разочаровались, впрочем, ненадолго, так как, не желая отказаться от своих догадок, они решили, что мало ли как можно называться, особенно когда прикажут там. Под этим «там» они разумели Петербург.

В течение полугода никто не навещался к новой послушнице, никто не навещил ее, на ее имя не было получено ни одного письма, ни одной посылки, как вдруг весть о роковом ящике с мертвой рукой мужчины, на одном из пальцев

которой было драгоценное кольцо, подобно молнии, облетела монастырские кельи.

Затихшие было толки о «новой послушнице» возникли снова с большею силою. Говорили, впрочем, о роковом гостинце с еще большей осторожностью и за стены монастыря весть эта не выходила, так как монахини при одном имени полицейского или подьячего трепетали всем телом и лучше решались, как это ни было для них трудно, воздержаться от болтовни со знакомыми богомолками о роковой монастырской новости, нежели рисковать очутиться в губернской канцелярии или сыскном приказе.

В то время, когда монахини отводили душу в беседах об этом предмете между собою, послушница Мария находилась между жизнью и смертью. Горячка или, как ее называла мать Агния, огневица засела, по утверждению той же Агнии-целительницы, в костях и выгнать ее было затруднительно. Все уже давно испытанные старушкой средства: настой трав, лампадное масло, смешанное с каким-то снадобьем, служившее мазью для натирания тела больной, не давали никаких улучшающих состояние последней результатов. Мать Агния в недоумении качала своей дряхлой головой.

– Ишь засела, прости Господи, ни крестом, ни пестом, ни молитвой, ни снадобьем, – докладывала она игуменьи Досифеи, ежедневно навещавшей больную.

– Все от Бога, матушка Агния, – торжественно изрекла игуменья.

– Это что говорить, это вестимо так, что от Бога, только ведь и снадобья от Него, от Отца Небесного, да и все с молитвой, – возражала старуха.

– Силу-то снадобья над телом человеческим имеют тоже по воле Божией, коли нет Его, Всевышнего, воли, что тут человек поделает.

– Это правильно...

– Может Господь тело-то ее изнуряет, чтобы духом укрепить... Коли к Себе призвать захотел, так давно бы... значит, угодно Ему, чтобы жила она, страданьем грех свой искупив, – продолжала игуменья.

– Какой грех-то, матушка, молода она и нагрешить-то, чай, не успела, – заметила Агния.

– Как знать... Бес-то он силен, над молодостью еще больше куражится.

– Прости, Господи, ее согрешения, – молитвенно воскликнула целительница.

Предсказание игуменьи Досифеи сбылось. Если не целебные травы и мази матушки Досифеи, то молодой организм вышел победителем в борьбе с приближавшейся уже смертью. Перелом болезни совершился. Больная очнулась и стала быстро поправляться. Прошло, однако, около двух месяцев со дня присылки ей рокового гостинца, когда она первый раз появилась у церковной службы. Ее трудно было узнать. Исхудалая, совершенно прозрачная, с потухшим взглядом прекрасных темно-синих глаз, она стояла в своей черной одежде подобно привидению. Те, от злобы и ненависти которых она похоронила себя в стенах монастырских, Должны были быть довольны – они заживо положили ее в гроб как следует – краше не кладут. Казалось, дни ее, несмотря на выздоровление, сочтены. Немногие из сестер могли удержаться от невольных слез искреннего сожаления при виде этой страдальицы.

Кто же была она? Кто были ее враги? За что гнали они ее? Чем помешала им ее юная, только что расцветшая жизнь?

V

Чертово гнездо

В 1747 году в Москве, в одном из тупичков, которыми изобилует местность, известная под именем Сивцева Вражка, стоял небольшою в пять окон одноэтажный домик, окрашенный когда-то в темно-красную, сделавшуюся от времени красно-бурой краску. Домик этот, перед которым находился небольшой палисадник, а сзади тянулся обширный сад, отделенный от не менее обширного двора высоким забором, несмотря на свою непривлекательную окраску, производил впечатление счастливого уголка, куда хотелось бы заглянуть прохожему, невольно думавшему, что в нем живут спокойно и счастливо добрые

люди.

Но такие мысли и чувства мог пробуждать этот домик в голове и сердце лишь «захожего человека», попадавшего на Сивцев Вражек из какой-либо отдаленной местности обширной Москвы. Не только ближайшие соседи, но и жители прилегающих местностей хорошо знали, что наружность этого домика обманчива, что доказывалось данным ему соседями прозвищем «чертово гнездо».

Сторожилы хорошо помнили и охотно рассказывали историю этого домика более чем за четверть века. Прежде всего, они объясняли, что домик этот был окрашен когда-то в ярко-красную краску, цвета человеческой крови, иные, менее сдержанные на язык, просто удостоверяли, что он был окрашен человеческой кровью. В нем жил, худой как щепка, длинный как жердь, и как лунь седой старик, носивший и зиму и лето платье ярко красного цвета. Несмотря на свои лета, он был крепок и силен, управлялся в доме без прислуги, если не считать глухонемого дворника, в косую сажень ростом, убиравшего двор и исполнявшего обязанности сторожа.

Старик этот, по мнению одних, был «колдун», «кудесник», по мнению других «масон», третьи же утверждали, что он был «оборотень». Никто не посещал старика, не было у него, видимо, ни родных, ни знакомых, только два раза в год, в определенное время и всегда ночью, у «кровавого домика» происходил съезд всевозможных, и городских, и дорожных экипажей. К старику собирались знатные бары, но что они делали там, оставалось неизвестным для самых любопытных, там ворота были высоки, а окна запирались плотными ставнями.

Там жил старик, окруженный таинственностью, никем не беспокоенный, даже полицией, представители которой, к удивлению соседей, особенно почтительно раскланивались с ним при встрече. Это подавало мысль любопытным навести справку о загадочном старике у охранителей тогдашнего московского порядка, но попытка эта оказалась тщетной.

Полицейские отзывались незнанием, объясняя свои почтительные поклоны уважением к старости, предписанной святым писанием. Любопытствующие качали головой, удивляясь такой религиозности полицейских, но уходили от них неудовлетворенными.

Так шли годы.

Вдруг в одно утро по Сивцеву Вражку пронеслась весть, что «кровавый старик» умер. Толпа народа окружила домик, думая, следуя обычаю, поклониться праху покойного и, пользуясь этим, проникнуть внутрь таинственного домика, но и тут соседей ожидало горькое разочарование. Ворота и калитка домика умершего владельца оказались наглухо запертыми, ставни закрытыми, доступу к покойному не было. Толпа постояла около домика несколько часов и стала расходиться; некоторые запоздавшие, однако, были вознаграждены за терпение.

К домику подъехала карета, запряженная шестеркою цугом великолепных лошадей, с двумя лакеями на запятках. Один из них соскочил и три раза сильно ударил в ворота. Ворота моментально отворились и карета въехала во двор. Успели разглядеть, что в карете сидела красивая и нарядная молодая женщина.

Два, три смельчака хотели было пробраться вслед за экипажем, но были с такою силою отброшены назад силачем глухонемым, что заказали себе и другим любопытствовать не во время. Последние любопытные разошлись. Любопытство все-таки осталось напряженным. Ждали, что будет дальше.

Дальнейшее было необыкновенно и неожиданно.

В дом внесли великолепный дубовый гроб, прибыло не только приходское духовенство, но и из кремлевских соборов. Панихиды служились два раза в день и на них съезжались все знатные и властные лица Москвы, похороны были торжественны и богаты; «колдуна», «кудесника», «масона» и «оборотня», к великому удивлению соседей, похоронили на кладбище Донского монастыря, после отпевания в церкви святого мученика Власия, что в Старой Конюшенной.

Некоторые из соседей, принарядившись в лучшие одежды, успели проскользнуть на панихиды, но в первой комнате, где стоял гроб, не заметили ничего особенного и только удостоверили, что «кровавый старик» лежит как живой и одет в черную одежду. Видели и ту красивую и нарядную барыню, которая первая прибыла в дом покойного, и заметили, что она во все время панихиды стояла близ гроба и горько плакала.

На вынос тела собралось множество народа, который толпился у церкви и проводил вплоть до кладбища своего загадочного соседа, но ничего особенного во время этих похорон замечено не было. Сделали только один основательный вывод, что, видимо, покойный был «важная персона», так как на похороны его собрались все московские власти и вся знать Белокаменная.

Долгое время о таинственном домовладельце Сивцева Вражка шли толки и пересуды и соседи все-таки остались при убеждении, что покойный был «колдун», «кудесник», может даже и «оборотень». Этими свойствами объясняли они и значение, которое он сумел завоевать себе у знатных бар.

«Тоже ведь люди, – рассуждали обыватели, – глаза и им отвести, ой, как можно...»

Наконец, толки мало-помалу утихли. Домик около полугода стоял пустой. Хотя он и перестал быть предметом любопытства соседей, и все же они старались обходить его стороною.

«Пропустовать ему до веку... – пророчествовали они. – Кому блажь придет купить это «чертово гнездо»».

Однако, сыскался человек, на которого такая блажь нашла.

На Сивцевом Вражке прибавился новый обыватель и домовладелец, отставной сержант Николай Митрофанов Иванов, только что женившийся на пригожей молоденькой девушке, коренной москвичке, Ираиде Яковлевне Булычевцевой. Парочка молодоженов поселилась в «чертовом гнезде», совершенно преобразив домик и как это ни странно, сделав из него «гнездышко любви».

Весть о покупке дома Ивановым, а также переезд его с женою в таинственный дом, составили целое событие в жизни Сивцева Вражка. Как всегда бывает, первый смельчак разрушает годами, созданную таинственность, и люди начинают понимать, что все страхи, окружающие тот или другой предмет, созданы их собственным воображением.

Не прошло и полугода, как домик Ивановых среди своих таких же деревянных одноэтажных собратьев, казалось, не выделялся ничем, кроме своего приветливого вида, которым обязан самой постройкой, но который уничтожался

суеверным страхом, перед его прежним владельцем.

Это было в 1729 году.

Супруги Ивановы жили, что называется, душа в душу и даже были прозваны ближайшими соседями, с которыми успели познакомиться и сблизиться, так как оба обладали общительностью, «воркующими голубками».

Николай Митрофанов, по секрету от жены, передал некоторым из соседей, что при отделке и уборке дома, им были действительно сделаны неожиданные открытия.

На стенах им найдены были какие-то странные, на непонятном ему языке, надписи, изображения замысловатых фигур, зверей, птиц, а в темном углу кладовой он нашел несколько больших железных колец и костылей и даже гроб, окрашенный черной краской, по которому белой краской были выведены те же непонятные надписи. Николай Митрофанов сам лично замазал все эти надписи, железо продал старьевщику в лом, гроб разрубил на мелкие щепы и сжег, не сообщая об открытии молодой жене, которая, как женщина, не на шутку бы перепугалась, и прелесть их «новенького гнездышка» была бы потеряна для нее навсегда. Оттого-то и сообщал Иванов об этих находках под строгим секретом от жены.

Соседи не замедлили передать ему рассказы о прежнем хозяине дома, но эти рассказы, подтверждаемые находками, не испугали храброго воина, и он заметил передававшему ему рассказ о «кровавом старике»:

– Дурил барин от нечего делать – вот и весь сказ. Тоже бары-то с жиру да с праздности и не такие чудачества выкидывают.

– Нет, не говори, сосед, а тут было не без нечистого, я бы верно и даром этого дома не взял, хоть и хорош он, нечего говорить.

– Все это пустое, – продолжал настаивать Иванов, – от меня всякий нечистый отскочит, я старый петровский вояка, да и крест на шее у меня есть, и молебны я тоже служу в двенадцатые праздники... у меня в доме благодать.

И действительно, в доме Ивановых царила благодать.

Прошло около года. Ираида Яковлевна Иванова подарила мужа первым ребенком. Девочка родилась необычайной, для новорожденного ребенка, величины. Событие это совершилось 13 июля 1730 года.

При святом крещении она была наречена Дарьей. Радость отца и матери была неопишима. Здоровый ребенок – осуществленная мечта всех родителей. Всем и каждому из заходивших знакомых показывали они своего феноменального крупного ребенка, и отец с гордостью говорил:

– Вот оно, что значит сержантская дочь, родись она мальчишкой, славный из нее бы вышел гвардеец.

В последних словах слышалась затаенная горечь. Николай Митрофанов, как все отцы, хотел иметь первенца-сына. Судьба судила иначе, и он примирился с ней, боготворил новорожденную дочь, но то обстоятельство, что это был не мальчик, не будущий сержант, а может, чего не бывает, и генерал, все же минутами омрачало эту радость.

Миленькая Дашутка росла не по дням, а по часам, усердно и с необычайною силою теребила отца за парик, но при этом стало заметно, что в ребенке проявляется совершенно не детская настойчивость и злость. Это упорство, эти капризы сперва принимались родителями, как это бывает всегда, добродушно, и только с течением времени нежные отец и мать убеждаются в своей ошибке, но исправить эти недостатки бывает, зачастую, поздно.

Уже к году Дашутка стала совершенно диким зверьком, билась на руках у матери и няньки руками и ногами, цеплялась им в волосы, и кусалась, так как зубы у нее пошли в шестом месяце.

Соседи, которым сперва восторженный, а затем уже сокрушенный отец передавал о нраве своей дочки, качали головой, и невольно припоминали, что эта девочка-зверек родилась в «чертовом гнезде».

Детство Даши

Годы летели незаметно. Даше Ивановой пошел уже тринадцатый год. Она была в доме полновластной хозяйкой, и не только прислуга, но сам отец и мать боялись своей дочери. На Ираиду Яковлевну она прямо-таки наводила панический ужас, а храбрый преображенец-сержант, хотя и старался не поддаваться перед девчонкой позорному чувству страха, но при столкновениях с дочерью, всегда оканчивающихся не в его пользу, часто праздновал труса, хотя не признавался в этом даже самому себе.

По внешнему виду Даша была далеко не маленькой девочкой, которой недавно исполнилось двенадцать лет, а взрослой шестнадцатилетней девицей, «хотя сейчас под венец веди», как говорила о ней ее нянька. Сама Даша чувствовала свою самостоятельность, свою физическую и нравственную силу, как чувствовала и обаятельность своей внешности и даже последней умела пользоваться при случае.

Красивая, высокая, статная, с почти совершенно развившимся станом, с роскошными темнокаштановыми волосами, с большими глазами и правильными, хотя несколько грубыми чертами лица, она являлась представительницей той чистой животной женской красоты, которая способна натолкнуть мужчину на преступление, отняв у него разум и волю. Учена она была, по тому времени, хорошо. Отставной дьячок, по прозвищу Кудиныч, обучал ее грамоте и Закону Божию с восьмилетнего возраста.

Кудиныч был маленький, тщедушный человек, с впалой грудью и вечно слезящимися глазами. На Сивцевом Вражке он был известен за опытного педагога и любим родителями, за неумеренное даже подчас употребление лозы как вразумительного и объяснительного средства. «Лоза» и «указка» считались не только в описываемое нами отдаленное, но даже и гораздо более близкое нам время необходимыми атрибутами ученья с пользой для учащихся.

Такого же взгляда держался и отец Дашутки, как называл сержант Иванов свою дочь, а потому выбор его и остановился на Кудиныче, несмотря на то, что этот учитель, бывший в спросе, брал сравнительно дороже других – два рубля ассигнациями в месяц. Не пожалел Николай Митрофанов денег, предвкушая не без злорадства оскорбленного отца первую порку, которую задаст учитель

завладевшей девчонке, с которой ни сладу ни ладу. Восемилетняя Дашутка, выглядывавшая двенадцатилетней, сама выразила желание учиться, и отец ухватился за это желание дочери.

«Он-те выучит... – думал он про себя о Кудиныче, – он-те проберет, порет, говорят, страсть, поди искры из глаз посыпятся... На него не установишься своими зелеными буркалами, его не укусишь, как намеднись меня хватала за руку...»

Цвет глаз Дашутки в минуты гнева действительно принимал зеленый оттенок и делался похож на змеиный. Все лицо, в обыкновенное время красивой девочки, преображалось – на нем отражались какие-то необычайно страшные зверские инстинкты.

Надежды Николая Митрофановича, однако, не сбылись. Старый педагог с первого же урока спасовал перед своей ученицей и не только не угостил ее спасительной лозой, которая в достаточном количестве была приготовлена заботливым родителем ко дню вступления его дочери в храм науки, но даже ушел с урока с несколькими синяками на руках, сделанными новой кандидаткой в грамотейки. Это окончательно смутило Николая Митрофанова.

– Ты что же это, брат Кудиныч, мо-то не школишь? – обратился сержант к учителю, после нескольких дней, видя, что приготовленные им лозы до сих пор не употреблены с научной целью.

– Оставь... – заметил мрачно учитель.

– Чего оставь?.. – рассердился Иванов. – Коли ты нанялся и деньги берешь, так учи!..

– Я и учу...

– Как же ты учишь, когда ни прута не тронул?

– Значит, не надобно...

- Как не надобно, какая эта наука, девчонка - змея подколотная, ее надо драть до полусмерти, а он - не надо...

- Так и дери... - все так же мрачно отвечал Кудиныч.

- Дери... - задумчиво произнес сержант. - Зачем мне драть, я тебя нанял.

- Драть?

- Учить...

- Я и учу...

- Да ведь других дерешь?

- Деру...

- Дери и мою...

- Нет уж, твою дери сам...

- Что так, али тоже труса празднуешь?

- Да тут, я ее было хотел легонько кулаком в зубы, так она мне такую затрещину дала, что и сейчас не вспомнишь... - сознался учитель.

- Вот оно что... - беспомощно опустил руки сержант. - Учи уж так... Да учиться ли?

- Учится, умная бестия...

- Умна, говоришь... - даже удивился Иванов.

Похвала уму его дочери польстила его отцовскому самолюбию, а страх, внушенный девчонкой такому опытному и строгому педагогу, как Кудиныч, утешил Николая Митрофановича в том смысле, что не он один из мужчин боится

этого «исчадия ада», как он не раз называл свою дочь. Даша, несмотря на то, что сама давала тумаки своему учителю, окончательно с течением времени подчинившемуся своей строгой ученице, училась действительно хорошо и без вразумляющей и разъясняющей лозы. Памятью и сметливостью она поражала и прямо увлекала Кудиныча.

- Ну и голова у тебя дочь... - пускался он в похвалы своей ученице, когда изредка сержант оставлял его позабавиться анисовой водочкой, которую употреблял в память Великого Петра, при котором начинал свою службу.

- А ну ее в болото... - говорил обыкновенно отец.

- Чего ну... Сколько годов учительствую, а до сих пор такой башки не встречал, даже в нашем мужском звании...

- Да к чему ей башка-то, бабе...

Горькое чувство, что у него нет сына, снова поднималось в старике.

- Как к чему, тоже жить надо...

- И то правда, вековухой будет... - согласился отец.

- Зачем вековухой, из себя она изрядная.

- Что ж, что изрядная... Да кто же ее, идола, замуж возьмет... Кому жизнь-то постыла... Ведь зла-то как... зверь рыкающий.

- Зла-то, зла... - задумчиво говорил Кудиныч, - это так, поистине, что зверь рыкающий.

- То-то и оно-то...

- Ну, да как знать, наш тоже брат-мужик до красоты ихней падох...

– Жизнь проклянет, кто свяжется, я своими руками не отдам, тоже крест на шею есть, петлю на горло надевать человеку не согласен и сватов засылать никуда не буду...

– Сама подыщет, не таковская, чтобы в девках усидеть... – решил Кудиныч.

Года через три учитель объявил, что ученица выучена, и действительно, Даша усвоила почти всю его книжную мудрость и больше ее было ему учить нечему. Ученье произвело на нее как будто смягчающее действие, она стала тише и задумчивее, хотя по временам на нее находили прежние вспышки неистового гнева, от которого прятались отец с матерью и все домашние.

Особенно доставалось дворовой девчонке, старше ее на два года, Афимье, или Фимке. Дашутка била ее нещадно чем попало и по чему попало, и несчастная иногда по несколько дней не вставала со своей постели от побоев, в синяках же и кровоподтеках ходила постоянно. Это, однако, не уничтожало в Фимке какого-то странного чувства чисто собачьей привязанности к Дарье Николаевне, как она звала свою барышню. Лучшей и более точной исполнительницы воли Даши последняя не могла бы сыскать даже среди крепостных служанок тех времен, отличавшихся преданностью и исполнительностью. Несмотря на переносимые побои, почти истязания, Фимка готова была для Дарьи Николаевны пойти в огонь и в воду. Черноволосая, с задорным, миловидным личиком, Фима была, несмотря на далеко не веселое свое положение при своей драчливой барышне, всегда веселой и шаловливой. Этими своими свойствами она даже часто обезоруживала гнев Даши, и та, по-своему, даже любила ее или, по крайней мере, не могла без нее обходиться.

Склад жизни «чертова гнезда», как снова иногда начали называть домик Ивановых соседи, конечно, не был тайной для последних. «Девчонка-звереныш», как прозвали Дашу соседи, служила темой бесчисленных и непрерывных рассказов, тем более, что сам ее отец Николай Митрофанович с горечью жаловался на дочь всем встречным и поперечным и выражал недоумение, в кого она могла уродиться. Это привело досужих обывателей Сивцева Вражка к созданию целой легенды, по которой ни в чем неповинная Ираидз Яковлевна, «мать-звереныша», – такое было дано и ей прозвище, – обвинялась в сношении с нечистой силой.

«Бесприменно этому делу виноват «старый оборотень»; умереть-то он умер, как следует, по человеческому, а домишко-то свой не забыл, душа-то его черная по

земле мечется, нет-нет, да и навестит старое жилище, – рассуждали между собою соседи. – Так вот Ираиду видно грех и попутал, связалась с оборотнем, может он и вид мужа принял, и принесла дочку».

Эта легенда, несмотря на всю свою несообразность, запала в обывательские умы, и как это ни странно, вся последующая жизнь Даши Ивановой подтверждала ее. Она, действительно, оказалась «исчадием ада».

VII

В лесу

Лето 1746 года было замечательно по стоявшей прекрасной погоде. Его нельзя было назвать сухим, так как Господь посылал дождика в меру и в воздухе чувствовалась та благорастворяющая влага, которая так необходима для изобилия земных плодов.

Стоял конец июля. Ягодный сезон был в самом разгаре. Это особенно было заметно в Москве, красовавшейся в то время своими рощами и садами. Прямо перед «очами векового Кремля» лежали «Садовники», многие столетия смотрел на них Кремль, любуясь их зеленью; оттуда, по ветру к нему навевался сладкий запах цветов и трав; там целые слободы заселены были садоводами; к Кремлю же примыкала цветущая поляна (нынешняя Полянка), с прудами, рыбными сажалками и с заливными озерами.

Сады в урочище «Садовников» были не прихотливы: в них не было ни регулярности, ни дорожек – одни только неправильные тропинки, да и то не везде. В этих садах вся праздная земля, не занятая деревьями, кустами, грядками овощей, шла под хозяйский сенокос. Плоды московских садов того времени были яблоки, вишни, груши, малина, крыжовник (агрыз), смородина черная и красная. Малинники в то время были очень густы, почти непроходимы, в них захаживал непрошенный гость – «косолапый Мишка». По краям садов сажалась черемуха, рябина. Окрестности Москвы славились своими заповедными вековыми рощами, и куда бы ни кинул взгляд свой путник, всюду встречал лесных гигантов. Один из таких вековых обитателей дубрав жив еще и посейчас и проезжие со станции Мытищи могут его видеть, хотя он стоит в пяти верстах от железного пути. Этот

гигант «вяз» воспет А. Ф. Мерзляковым девяносто лет тому назад, в известной, ставшей народной, песне:

Среди долины ровныя, на гладкой высоте,

Цветет, растет высокий дуб в могучей красоте.

Высокий дуб развесистый, один у всех в глазах,

Один, один, бедняжка, как рекрут на часах.

Поэт только почему-то назвал его дубом. Сторожилы московские, однако, утверждают, что песня сложена именно про этот «вяз».

Сержант Николай Митрофанов Иванов был страстный любитель природы и при первом весеннем ветерке рвался из дому. Его собственный обширный сад был ему тесен, хотя он с любовью занимался им, холил каждое деревцо, подстригал кусты, очищал их от паутины и словом ухаживал, как мать за родным детищем. Это поглощало первые весенние месяцы и часть летних месяцев, в июне же и в июле сержант обязательно начинал пропадать из дома, и его, по выражению Ираиды Яковлевны, одна заря вгоняла, другая выгоняла, и иногда отсутствие его продолжалось и по несколько дней.

Николай Митрофанов отправлялся в «Садовники» по ягоды – почти все хозяева садов этой местности были его благоприятелями – или на Москву-реку, предаваясь на ней тоже одному из своих любимых занятий – рыбной ловле. Иногда он забирался и в далекие окрестности Белокаменной. По праздничным дням его нередко сопровождал и учитель – Кудиныч, уже окончивший, как известно, занятия с дочерью Иванова, и оставшийся благоприятелем с Николаем Митрофановым. Последний любил природу несколько иначе. Практические результаты лета и осени, как плоды, фрукты и рыбная добыча, не играли в его глазах той роли, которая заставляла трепетать сердце практического сержанта. Кудиныч был философ и любил предаться мечтам под сенью зеленой листвы деревьев и на берегу тихо катящей свои волны реки. В летних экскурсиях своих с Николаем Митрофановым он был скорее его собеседником, нежели помощником.

В год нашего рассказа, в Ильин день, Николай Митрофанов и Кудиныч, чуть начало светать, отправились по грибы за деревню Мытищи, близ которой был густой, непроходимый бор, памятником которого сохранился до нашего времени

один вышеназванный нами «вяз», воспетый Мерзляковым.

Было чудное июльское утро, когда наши грибоискатели вошли под тень векового бора. На дворе становилось уже жарко, яркое солнце, вышедшее из-за горизонта, быстро накаляло не успевший еще охладеть за короткую летнюю ночь воздух, но в лесу все веяло прохладой.

– Эка благодать-то какая! – вздохнул полной грудью Кудиныч, порядком-таки уставший от довольно далекого путешествия, между тем как отставной сержант шагал бодро и весело. – Прилечь теперь на траву-то, из земли сила в тебя потянется могучая, здорово...

– Тебе бы все лежебочничать... – заметил Николай Митрофанов. – Куда с тобой ни пойдешь, все ты только по мураве-траве валяешься, нет, чтобы рыбинку поймать, ягод понабрать или грибов, лежишь на земле-то твоей, а силы-то что-то в тебе не видно...

– Это, Николай Митрофанов, все от Бога...

– Вестимо так, только не даром присловье молвится: «на Бога надейся, а сам не плошай». Я вот всю жизнь на ходу, а силы-то достаточно, медведя и того не побоюсь, померяюсь...

– Ты не накликай, здесь, говорят, медведи-то водятся...

– Как не водиться, водятся, а ты уж и назад хоть пятки ворочай, струсил... Лежишь, лежишь на земле-то, а тщедушный такой, что не только медведь, заяц тебя свалит, – продолжал добродушно потешаться над Кудинычем Николай Митрофанов.

– Уж и заяц; скажет тоже; зайца-то я сам выгоню, потому я на ходу легок...

– Чему же не легкому быть, кости да кожа... Нет, видно, учеба-то ваша мясо не растит, а о жире и забыть при ней надо...

– Дух-то за то укрепляется... – с важностью заметил Кудиныч. – Нет, ты посмотри: лужайка-то, травка муравка-то какая, цветок к цветку... Я, как

хочешь, прилягу... – вдруг переменял он разговор.

Действительно, они вышли на небольшую полянку, поросшую мягкой, сочной травой, испещренной всевозможными цветами. Деревья как бы расступились, чтобы дать место этому укромному уголку природы, действительно манящему к неге и покою. Кудиныч решительно остановился.

– Так я малость прилягу... Отдохни и ты, Николай Митрофанович...

– Я не устал... А ты лежи, лежебока, что с тобой делать... Тут около полянки, наверное, самое грибное место... Я поищу грибов и вернусь за тобой.

– Далеко ты только не ходи... – заметил Кудиныч, уже с наслаждением развалившийся на траве и вперив свой взор к безоблачным небесам, видневшимся над ним среди редких деревьев.

– Небось, медведей боишься... – захохотал сержант и скрылся в чаще.

– Не то, а неровен час потеряешься! – крикнул ему вдогонку Кудиныч, но не получил ответа.

Не прошло и получаса, как сладкая дремота Кудиныча в объятиях природы была нарушена страшным треском ломаемых сучьев, раздавшимся среди точно заколдованной тишины леса; затем послышались крики, страшные, неистовые, и в этих криках Кудиныч узнал голос отставного сержанта. По первому пробуждению тщедушный учитель бросился на эти крики, но едва вбежал в чащу и пробежал шагов с двадцать, как глазам его представилась картина, от которой он весь похолодел и остановился, как пригвожденный к месту. Огромный медведь мял под собою Николая Митрофановича, который перестал уже кричать, а только громко стонал.

С секунду простоял Кудиныч перед этой картиной в полном сознании своего бессилия и невозможности оказать помощь, затем повернул назад и бросился бежать так, что, действительно, никакому зайцу не угнаться было за ним. Он решил бежать в деревню и просить помощи у мужиков. Быстро пробежал он лес, выбежал на опушку, в нескольких шагах от которой и расположены были Мытищи.

Крестьяне мигом собрались, услышав от Кудиныча о том, что «сержанта Митрофаныча», под каким прозвищем знали Иванова многие из мытищенских мужиков, задрал медведь, вооружились дрекольями и пошли в лес, следом за учителем, который шел впереди. Имея за собой человек с двадцать рослых и дюжих людей, Кудиныч не боялся и бодро вел свою армию на врага. Но враг не стал дожидаться мстителей за свое кровавое дело.

Когда подошли к месту, то медведя простыл и след, а на земле лежал лишь обезображенный труп Николая Митрофанова Иванова. Вся одежда на нем была превращена в лохмотья, череп разворочен, лицо потеряло всякий человеческий облик и представляло из себя одну сплошную кровавую массу.

– Ишь, как управился, чтоб ему... – заметил Кудиныч, растерянно смотря на обезображенный труп. – Заладил одно: медведь да медведь, вот и накликал... Как жаль, сердечного, ах, как жаль!.. Старик был на отличку... Да, может, жив еще?..

Крестьяне тоже ахали, а при последних словах Кудиныча один из них, нагнувшись к лежавшему, подвинул его за ногу. Он не издал ни звука.

– Кончился... – заметил крестьянин.

– Вестимо кончился... Где же тут живу быть... Вишь всего разворотил!

Тут только заметили, что у трупа распорот живот и внутренности из него вышли наружу. Поахав и поохав, и почесав затылки, крестьяне сделали тут же из ветвей деревьев носилки и понесли обезображенное тело отставного сержанта Николая Митрофановича Иванова в деревню.

С опущенной долу головой, и с невольно лившимися из глаз непритворными слезами, шел за носилками Кудиныч. Труп в деревне положили в один из сенных сараев, а для Кудиныча запрягли телегу, в которой он, с одним из крестьян, и отправился в Москву, везя роковое известие, нечуявшим над своими головами никакой беды, Ираиде Яковлевне и Дашутке.

«Вот убиваться-то будет, родимая... Любила она старика, ах, как любила, – думал дорогою Кудиныч о жене покойного. – Дашке-то ничто, глазом не моргнет, не таковская», – переносилась его мысль, на свою бывшую ученицу, сердце и нрав

которой были ему достаточно известны.

VIII

Проклятая

Кудиныч ошибся только в подробностях. Привезенное им известие о страшной кончине мужа произвело на Ираиду Яковлевну действительно потрясающее впечатление, но слезами она не облилась. Она встретила роковую весть даже с каким-то тупым равнодушием, которое на первых порах поразило учителя.

«Ишь ты, ей, кажись, его и не жалко совсем...» – мелькнуло у него в голове, но внимательно посмотрев на несчастную женщину, которой он, подготовив как умел, рассказал страшное приключение в лесу, он тотчас отбросил эту мысль.

Мучительное горе, отражавшееся в остановившихся глазах Ираиды Яковлевны, разлитое во всех, как бы окаменевших чертах ее красивого лица, ясно говорило, что слезы, быть может, только облегчили бы для нее страшный удар судьбы, но что не ими выражается то страшное душевное потрясение, которое испытывает человек при поразившем его истинном горе. Кудиныч понял, что заплачь эта женщина и ему перестало бы быть так жутко, как при этом холодном, безмолвном отчаянии. Плачущего человека можно утешить, тут же слов утешения, настоящего, искреннего, не состоящего из общих фраз, не сходило с языка при всех усилиях воли. Это безмолвное, ничем не выраженное или, лучше сказать, выраженное всем существом несчастного человека горе, подобно холодному суеверному ветру, леденит сердца и умы окружающих.

Кудиныч молчал, под дуновением этого пронизывающего его холода.

«Вот оно что! Это хуже слез! Это – смерть!» – мелькнуло в его уме.

На дочь известие о смерти отца не произвела, казалось, никакого впечатления.

– Сидеть бы ему дома, на печи, жив бы был!.. – заметила она, присутствуя при рассказе Кудиныча, передававшего ее матери о страшной смерти Николая

Митрофанова.

Фимка одна, всплеснув руками, заревела благим матом.

– Батюшка, Николай Митрофанович, на кого ты нас, родимый, оставил... – начала причитать она, но тотчас была остановлена Дашуткой, давшей ей полновесную пощечину.

– Чего, белуга, разревелась, вернешь што ли... Знаешь, я этих бабьих причитаний не люблю, пошла на место!

Фимка, как забитая собака, вся как-то подобралась, вышла.

– И сильно он его раскровенил?... – хладнокровно задала вопрос Дашутка Кудинычу.

Тот молчал, в каком-то почти паническом страхе, глядя на свою бывшую ученицу.

– Ишь, у вас языки, видимо, поотсохли... – бросила последняя и вышла из комнаты, мурлыча про себя какую-то песню.

Ираида Яковлевна проводила дочь таким злобно-презрительным взглядом, что Кудинычу стало не по себе.

На следующее утро Ираида Яковлевна, Дашутка и Кудиныч, с тем же мытищенским мужиком отправились в Мытищи за телом покойного, захватив с собою купленный в Москве гроб.

Вид обезображенного трупа мужа не вывел его жену из ее окаменелого состояния: она, казалось, равнодушно смотрела на эту грудку свежего мяса, в которую обратился ее муж еще вчера, нежно прощавшийся с ней горячим поцелуем и обычной ласковой фразой: «ну, прощай, моя лапушка». Поведение дочери покойного внушило священный ужас даже крестьянам, при которых происходила сцена прибытия в сенной сарай, где находился труп Иванова, Ираиды Яковлевны и Дарьи Николаевны. Последняя с каким-то странным любопытством рассматривала обезображенное тело своего отца, щупая мясо,

отставшее от костей, руками, и, наконец, грубо заметила:

- Ишь, как его разворотило.

Ни вздоха не вырвалось из этой молодой девичьей груди, ни слезинки не появилось в этих прекрасных, но холодных, как сталь, глазах. Тело положили в гроб, поставили на телегу и повезли в Москву. За ними двинулся туда и Кудиныч с семьей покойного.

Смерть Николая Митрофанова вызвала общее сожаление не только в ближайших соседях, но и обитателях Сивцева Вражка вообще, что доказало множество присутствующих на панихидах в доме покойного и при отпевании в церкви святого Власия, что в Большой Конюшенной.

Тело Иванова опустили в могилу на Драгомиловском кладбище. Ираида Яковлевна за все это время не выронила ни слезинки, но своим окаменевшим от горя лицом она и на всех других производила такое же впечатление, какое произвела на учителя Кудиныча. Все чувствовали это безмолвное, страшное горе и преклонялись перед ним.

- Ишь, сердечная, как ее пришибло! - замечали кругом.

Совершенно непришибленной оказывалась Дашутка. Она стояла за панихидами и при отпевании и даже при ощущении в могилу, самом страшном моменте похорон, когда стук первого кома земли о крышку гроба отзывается в сердце тем красноречием отчуждения мертвых от живых, тем страшным звуком вечной разлуки с покойным близких людей, которые способны вызвать не только в последних, но и в окружающих искренние слезы. Казалось, Дашутка присутствовала при каком-то интересующем ее представлении, незнакомом ей доселе, любопытном обряде, а не при похоронах своего родного отца, погибшего такую трагическою, мучительною смертью, - растерзанного диким зверем. Она перешептывалась с Фимкой, видимо, в угоду своей барышне, также имевшей далеко не печальный вид и даже - заметили некоторые - усмехалась.

Это поведение дочери у гроба отца возмутило соседей и стало надолго предметом обсуждения обывателей Сивцева Вражка. Заметили также взгляды ненависти и презрения, которые подчас останавливала неутешная вдова на своей единственной дочери, которая, казалось бы, в минуту потери мужа,

должна бы была сделаться особенно дорогой для одинокой матери. Все это подтвердило в глазах обывателей созданную уже целые годы легенду о происхождении этого «звереныша».

– Не отец он ей, уже теперь как Божий день ясно, что не отец... – говорили досужие языки, – кровь-то в ней и не сказывается... Кабы дочь она его была, разве можно было бы ей такой быть... Хороший был человек, душевный, любил ее, отродье дьявольское, а она хоть бы бровью повела, что умер... Точно пес какой паршивый окошел у нее под подворотней... Прости, Господи... Не дочь, стало быть, не дочь... Согрешила Ираидушка, может за ее грехи Господь и мужу-то ее послал смерть такую лютую... Сама чувствует, что согрешила... На дочь-то смотрит как на ворога, да ворог она и есть – дочь ворога человеческого.

Таким образом репутация «исчадья ада» окончательно утвердилась за Дарьей Николаевной Ивановой.

Жизнь в красненьком домике, после похорон Николая Митрофанова, пошла томительно однообразно и одиноко. Навещавшие было первое время соседки и знакомые не повторяли своих посещений, ввиду тягости царившей в доме атмосферы не только стряпшегося над ним недавно горя, но, казалось, и предчувствия надвигающегося. Ираида Яковлевна ходила по дому, распорядилась по хозяйству все с тем же страшным окаменевшим выражением лица и делала все, видимо, машинально, не отдавая себе отчета в тех или других своих поступках и действиях. Она почти ни с кем не говорила, отделялась короткими фразами и немногосложными приказаниями.

Только Дашутка-звереныш не изменила своей жизни, по-прежнему верховодила над прислугой, бранила и била ее, не обращая никакого внимания на мать, а тем более на посторонних, гостей из соседей, которых она не любила, а те ей отплачивали той же монетой. Ей шел уже семнадцатый год, она была, как принято было тогда выражаться, «в самой поре», и физически развита на диво. Чистое лицо, что называется кровь с молоком, с правильными, хотя и резкими чертами, с толстой русой косой ниже пояса, высокой грудью и тонким станом, все это, конечно, не ускользало от внимания сыновей соседей, в частности, и молодых франтов Сивцева Вражка вообще, но большинство сторонилось от молодой девушки, злобный нрав которой был известен всему околотку, а некоторые смельчаки, решившиеся было начать с ней любовное заигрывание, получали такой, в буквальном смысле, чувствительный отпор, что другу и недругу заказывали помышлять о такой тяжелой руке красавицы. Чувство

любви, видимо, не просыпалось в Дарье Николаевне и она жила своею собственною внутреннею жизнью, предаваясь, впрочем, видимо, мечтам о будущем, так как часто во время припадков гнева и скуки у нее вырывались слова:

– Эх, кабы моя полная воля!

Этой полной воли ей пришлось ждать не долго.

Ираида Яковлевна, со времени смерти мужа, совсем не разговаривала с дочерью, подчас лишь взглядывала на нее с необычайною злобой и с каким-то, почти физическим, отвращением. Эти взгляды очень беспокоили Кудиныча, который один не переставал навещать семейство покойного Иванова. Он чуял сердцем, что они разразятся чем-нибудь недобрым.

Наступил сороковой день со смерти Николая Митрофанова. Кудиныч пришел сопровождать вдову и дочь на могилу покойного. Дарья Николаевна, видимо, никуда не собиралась, тогда как Правда Яковлевна уже надела на голову платок.

– Ты что ж, отца-то поминать не пойдешь?.. – вдруг обратилась она к дочери. Это были со дня похорон, первые ее слова с ней.

– Куда я потащусь, в дождь такой... Идите себе, поминайте одни своего грызаного.

На дворе действительно шел сильный дождь.

– Ах, ты, корова семиобхватная, ах, ты, лошадь стоялая, чертово отродье, да я ли родила тебя, изверга такого, вот лучше задушю тебя своими руками!.. – вдруг разразилась потоком ругательств Ираида Яковлевна и, как разъяренная тигрица, бросилась на дочь и схватила ее за горло.

Но не такова была Дарья, чтобы остаться в долгу. Она с такой силой оттолкнула мать, что та полетела навзничь на пол, ударившись головою о косяк окна.

– Будь ты проклята!.. – падая, успела крикнуть мать и уже через минуту лежала без сознания.

Свидетель этой безобразной сцены, Кудиныч, бросился к упавшей. Дочь спокойно вышла из комнаты.

IX

Московские удовольствия

На кладбище, в сороковой день, не пошел никто.

Бесчувственную Ираиду Яковлевну отнесли на постель, на которой она в бессознательном состоянии пролежала около двух недель и отдала душу Богу, не сняв проклятия со своей дочери. Последняя, впрочем, и не навещала ее и совершенно равнодушно встретила известие о ее кончине.

Эта смерть ведь открывала ей широкое поле – у нее становилась «своя воля».

Ираиду Яковлевну похоронили рядом с мужем, на Дорогомиловском кладбище.

Дочь проводила мать до места ее вечного упокоения без слезинки в глазах и вернулась домой уже полновластной и единственной хозяйкой.

– Проклятая, проклятая! – шептали вокруг нее люди, но она не слыхала или не желала слышать этих слов.

Так под именем «Проклятой» она и стала слыть на Сивцевом Вражке. Сирота сделалась центром внимания соседей, следивших за каждым ее шагом и толковавших вкривь и вкось даже самые обыденные ее поступки.

Так всегда случается с людьми, по тем или другим причинам заслуживавшими общественное внимание. Все, что проходит бесследно для других, становится им в вину; все, что кажется обыденным в обыкновенном человеке, представляется

чем-то выдающимся в том, на котором сосредоточен взгляд общества.

Дарья Николаевна Иванова, впрочем, своим поведением, нельзя сказать, чтобы накидывала платок на чужой роток, который и без того накинута, по словам русской пословицы, трудно.

Не прошло и сорока дней со смерти матери, как молодая девушка, ставшая самостоятельной, зажила, как говорится, во всю. Нельзя было сказать, чтобы в режиме ее жизни было бы что-нибудь предосудительное; ни одного мужчины, ни молодого, ни старого, исключая разве изредка наведывавшегося Кудиныча, который был не в счету даже в глазах сплетников и сплетниц Сивцева Вражка, не было около нее; но быть может ей простили бы даже любовную интригу – она была естественной – ей не прощали ее поведения, потому, что оно было необычным, потому что оно не укладывалось под понятия нравственного и безнравственного, оно выходило вон из ряда, и его осуждали строже, чем осуждали бы явный порок. Дашутка-проклятая, как продолжали называть ее обыватели Сивцева Вражка, дурила не на живот, а на смерть.

Одетая в мужское платье, она приказывала запрягать себе лихих коней, и посадив в сани Фимку, тоже переодетую мужчиной, как вихрь носилась по Москве, посещая «комедийные потехи», как назывались тогда в Москве театральные зрелища, и даже передавали за достоверное, участвовала в кулачных боях, словом, вела себя не по-девичьи, не по-женски.

Первые публичные театральные представления в Москве происходили при Петре, в «Комедийной Храмине» на Красной площади, и в Немецкой слободе, в доме генерала Франца Яковлевича Лефорта. Для «Комедийной Храмины» в 1701 году был отправлен за границу поступивший к царю на службу комедиант Иван Сплавский, в город Гданск (Данциг), для вербования в Москву театральной труппы. Он в контракте обязывался, по прибытии с труппой в Москву, царскому величеству всеми помыслами, потехами угодить и к тому всегда доброму «готовому и должному быти», и за это ему назначено было ежегодно получать по 5000 ефимков.

Современники в то и последующее описываемое нами время смотрели на зарождающийся «светский театр» как на дело дьявольское и богопротивное, и глядели, приговаривая: «с нами крестная сила». Публичные представления на Красной площади в конце 1704 года на время прекратились: Яган Кунтш, этот предтеча современных антрепренеров, бежал из Москвы, не заплатив жалованья

никому из своих служащих.

После Кунтша театр на Красной площади перешел в руки Отто Фюрста; представление у последнего чередовалось с русскими представлениями: русские давались по воскресеньям и вторникам, а немцы играли по понедельникам и четвергам; немецкие и русские пьесы представлялись под управлением Фюрста. В труппе последнего женские роли впервые исполняли женщины: девица фон-Велих и жена генерального директора Паггенканпфа, в русских документах попросту переделанная в Поганкову.

В этих театрах русскими учениками Кунтша и Фюрста играны были следующие пьесы: «О Франталисе эфирском и о Мирандоне сыне его», «О честном изгнаннике», «Тюрьмовой заключенник или принц Пикельгяринг», «Постоянный папиньнаус», «Доктор Принужденный» и другие. Все эти пьесы имели все театральные эффекты и ужасы, сражения, убийства и прочее.

После Петра I, при Екатерине и в последующие царствования, в Москве публичных представлений не было.

Со вступлением на престол Анны Иоанновны, простота прежних времен сменилась великолепием и блеском, как коронация Анны Иоанновны. К этому торжественному дню польский король Август II отправил в Москву отборнейшие таланты своей дрезденской оперы. Это были итальянцы, между которыми находились знаменитости того времени, превосходные певицы, танцовщики, музыканты. Из числа их особенно отличалась актриса Казанова, мать известного авантюриста Казанова, и комик-певец Педрилло, впоследствии шут государыни.

Этими-то артистами и была представлена итальянская интермедия, с необычайною роскошью в костюмах и декорациях.

В 1741 году, с восшествием на престол императрицы Елизаветы Петровны, началась новая блистательная эпоха признанного драматического искусства в России и в ее царствование положено было начало отечественному театру. Ко дню коронации императрицы в Москве нарочно был построен новый театр на берегу Яузы. Театр был обширен и прекрасно убран.

В день коронации был дан первый великолепный спектакль на итальянском языке: он состоял из оперы «Clemenzo di Tiddo» (Титово милосердие) и «Le Russia

affletta et riconsolata» (Опечаленная и вновь утешенная Россия), большая аллегорическая интермедия, смысла которой пояснять не нужно, потому что он виден из самого заголовка пьесы. После следовал балет «Радость народа, появление Астреи на российском горизонте и восстановлении золотого века».

Балет, по сказаниям современников, был превосходный и приводил в неимоверный восторг публику. В следующие дни был представлен еще другой балет, «Золотое яблоко на пире богов, или суд Париса». Оба балета были сочинены и поставлены на сцену Антониом Ринальдо-Фузано. Этот балетмейстер служил прежде при дворе Анны Иоанновны и был преподавателем «танцевания» великой княжны Елизаветы Петровны. При первом известии о восшествии ее на престол, Фузано, бывший тогда в Париже, поспешил в Петербург, чтобы представиться венценосной ученице и предложить ей свои услуги. Императрица тотчас же приняла его и наименовала вторым придворным балетмейстером для комических балетов: первым балетмейстером и хореографом трагических танцев числился Линде, находившийся в то время за границей.

Петровский служака, покойный Николай Митрофанов Иванов любил в память Великого Петра посещать комедию, а любовь к последней «дщери Петра» Елисавете еще более побуждала его к ее посещению, которое он считал как бы исполнением воли государыни. Возвращаясь домой после комедийного зрелища, он горячо передавал своим домашним свои впечатления и таким образом развил в дочери любовь к театру, несмотря на то, что она при жизни отца с матерью даже не смела подумать о его посещении.

Содержание комедийных зрелищ того времени пришлось подходящим к грубым вкусам Дарьи Николаевы Ивановой, и она пропускала редкое представление, тем более, что места были дешевы, первые стоили гривну, вторые два алтына, третьи пять копеек, а последние алтын, а отцовская кубышка, оставшаяся в полном распоряжении дочери, позволяла эти траты.

Лучшим, однако, удовольствием, превосходящим бешеную езду и театр, были для Дарьи Николаевны кулачные бои. Происходили они в Москве обыкновенно зимой, на льду Москвы-реки. Со всех сторон в воскресенье или в праздники, после полудня, собирались молодцы потешить себя, поразмять и свои, и чужие косточки. Собиралось на эти бои иногда народу тысячи по три, по пяти, причем немало было и зрителей, даже из людей высшего круга, а также и женщин, любовавшихся на бойцов из закрытых ковровых возков с медвежьими полостями. Не упускали случая побывать на боях и молодые девушки, хотя редкие из них

принимали в них участие.

Вообще кулачный бой был для всех самой обыкновенной и причем самой любимой забавой.

Увлекалась им до самозабвения и наша героиня и, подчас, переряженная парнем, принимала в них участие, сильно тузя бока заправским бойцам. Она находила дикое упоение при виде этих падающих и кричащих людей, звуке сыпавшихся направо и налево ударов, цвет брызгавшей из носов и губ крови и синевы подставляемых под глаза фонарей.

Все это, повторяем, возмущало соседей, и рассказы о ее молодечестве, а кстати и беспутстве, преувеличенные и разукрашенные, ходили по Сивцеву Вражку, хотя участие девиц в кулачных боях не было в то время совершенно исключительным явлением. Молва о ней, как о «выродке человеческого рода», «звере рыкающем», «исчадьи ада», «чертовой дочери» снежным комом катились по Москве.

Материнское проклятье, тяготевшее над ней, довершало мрачную окраску ее фигуры, хотя, по внешнему виду, она была в полном смысле красавицей, окончательно расцветшей к восемнадцати годам.

Х

Встреча

Убеждение, высказанное еще покойным Николаем Митрофановым о том, что его дочь останется «вековухой», то есть не выйдет замуж, разделяли не только близкие соседи, но и все обыватели Сивцева Вражка.

Можно же после этого представить, как должна была поразить их новость, что у Дашки Ивановой объявился жених, да еще не простой, не захудалый какой-нибудь парень, а такой, что за него с руками и ногами выдали бы своих дочерей московские папеньки и маменьки, даже принадлежащие к богатым и знатным фамилиям Москвы. С некоторого времени заметили, что Дашутка катается уже

не на своих лошадях, а на рысаках, совсем кровных, как говорили очевидцы. Одевалась она уже в женское платье, а рядом с ней в узеньких санях помещалась уже не ее возлюбленная Фим-ка, а красивый, стройный военный, с выхоленным лицом и барскими манерами.

Вскоре стало известно, что это жених, Глеб Алексеевич Салтыков.

Соседи так и ахнули: гвардейский ротмистр, богач, красавец, хочет узаконить это «исчадие ада» – «Дашутку-звереныша».

– Просто путает... – догадывались одни. – Тоже, чай, разум в голове есть, видит, чай, кого замуж-то брать приходится.

– Не такая она девка, чтобы путать дозволила... – возражали другие. – Путанников-то много бы нашлось, а что ни говори, мужик она мужиком... Одна всюду со своей Фимкой шасталась, на кулачных боях дралась, а чтобы какой воздухахтор завелся, этого о ней и недруг не скажет.

– Мели Емеля, твоя неделя... Шито да крыто все делано, только и всего... – замечали некоторые, особенно озлобленные и недоверявшие возможности при такой жизни, какую вела Дарья Николаевна, «сохранить себя».

– Нет, этого не говори... Чего нет, так и нет... И помнишь парнюгам от нее немало по сусалам доставалось за эти глупости.

И, действительно, обыватели Сивцева Вражка должны были, в конце концов, сознаться, что Дашутка дурит, что Дашутка – зверь, что на Дашутке креста нет, а себя она все же соблюдает.

– Може она и не баба, шут ее разберет... – высказывали некоторые предположения.

Но Дарья Николаевна была женщиной, со всеми ее страстями и слабостями, но до сих пор она тешила свою страстную натуру бешеной ездой, дракой, и образ мужчины лишь порой смущал ее воображение. Она была в периоде поиска за идеалом. Этот идеал был своеобразен и вполне соответствовал ей, девушке-гиганту, девушке-зверю. Прежде всего, она рисовала своего мужа сильным,

высоким, статным мужчиной, который не потупился бы от ее взгляда, который не спасовал бы перед ее дерзостью и мог бы усмирить ее, порой хотя бы... ударом своей мощной руки.

Все те юноши-парни, которые млели перед ее мощным взглядом, которые смотрели на нее, по ее собственному выражению, как коты на сало, были противны ей. Она читала в их глазах способность полного ей подчинения, тогда как она искала в мужчине другого – она искала в нем господина над собою. Она презирала их и в ответ на их признания была парней «по сусалам», как выражались соседи.

Ей показалось, что такой человек нашелся. Это и был ротмистр гвардии Глеб Алексеевич Салтыков. Встреча их произошла при оригинальных обстоятельствах.

Выходя, однажды, из театра, Дарья Николаевна вместе с Фимкой были стеснены толпой, и несмотря на одетые на них мужские костюмы, узнаны.

– Братцы, кажись это бабы переряженные! – воскликнул один из шедших рядом с Дарьей Николаевной парней и довольно бесцеремонно облапил ее.

Тяжелая затрещина была красноречивым, но не убедительным ответом.

– Бабы и есть! – воскликнул он.

Произошла свалка, в которой Дарья Николаевна и Фимка усердно работали кулаками, но ввиду многочисленности нападающих, стали ослабевать, как, вдруг, возле них выросла статная фигура молодого мужчины, одетого в военный мундир. В этот самый момент была ошеломлена сильным ударом в бок Дарья Николаевна, пошатнулась и чуть не упала под ноги толпы, если бы ее не поддержал этот неизвестный, как из земли выросший мужчина. Он схватил ее на руки и быстро вынес из расступившейся перед ним толпы. Фимка, не помня себя от страха, следовала за их спасителем.

– Салтыков, Салтыков... – пронеслось в толпе. – Дорогу Салтыкову...

Глеб Алексеевич Салтыков был известен в Москве своей силой, молодечеством и беззаветной храбростью. Это было зимой. Положив почти бесчувственную Дарью Николаевну в пошевни, и помог сесть в них Фимке, он вскочил на облучек, крикнув кучеру: «пошел!»

Лошади помчались.

– Куда везти-то? – обернулся он к сидевшим женщинам, после того, как они проехали берег Язы и свернули в один из переулков.

Фима, оправившаяся от страха, сказала адрес.

– На Сивцев Вражек! – приказал он кучеру и тот ударил вожжами по лошади.

Красивое, сытное животное, казалось, не бежало, а летело. От этой, дух захватывающей езды, Дарья Николаевна очнулась.

– Где мы? Куда мы? Где Антон? – спросила она, открывая глаза.

– Барин вот нас домой везет, а Антон там стоит, не до него было... Слава Те, Господи, что живы выскочили...

– Барин! Какой барин? Что ты путаешь?.. – придя уже совершенно в себя, спросила молодая девушка.

– Какой барин, мне неведомо... Спросить можно.

– Барин, а барин? – окликнула Фима Салтыкова. – Вы кто будете, барышня любопытствует?

– Ротмистр гвардии Глеб Алексеевич Салтыков, – обернулся он к сидевшим в пошевнях.

При лунном свете, отражавшемся на белой пелене дороги и на покрытых, словно белой скатертью крышах домов, Дарья Николаевна разглядела красивую, статную фигуру везшего их барина и у нее вырвался невольный возглас:

– Ишь, он какой!

– Какой есть! – ответил Салтыков. – Как позволишь тебя, боярышня, по имени и отчеству величать?

– Дарьей Николаевной меня звать, Ивановой кличут...

– Как себя чувствуешь?..

– Да ничего себе, очухалась, саданул меня один подлец здорово... Уж не ты ли это?

– Борони меня, Господи!

– Чего страховаться! Садануть-таки нашу сестру бывает на пользу, чтобы знала место, чертова дочь, против десятерых не совалася...

– Это ты, боярышня, правильно так сказала, воли вашей сестре нашему брату давать не приходится: только за дело, да вовремя, а так зря дубасить тоже не годится, притупится, чувствовать побои не будет, страх к ним потеряет...

– Ты, я вижу, парень умный, коли такие речи ведешь, – заметила Дарья Николаевна. – А догадался ты, что бабы мы?

– Нет, я принял вас за молодых парней... Думал изобьют молокососов, насмерть исколошматят, роду они, видимо, не простого, вот я и вступился...

– Это Фимка-то не простого роду... – захохотала Дашутка.

– Да ведь для парня-то в ней нежность есть, ну, так на барчука и смахивает... – заметил Салтыков.

– Для парня-то оно пожалуй... – согласилась Дарья Николаевна.

Лошади в то время катили уже по Сивцеву Вражку.

– Где тут ваша усадьба-то! – обратился с вопросом к сидевшим в пошевнях Салтыков.

– А вот здесь, налево... – сказала Фимка, указывая на красненький домик.

– Стой!

Лошади остановились. Обе девушки выскочили из пошевной, и Дарья Николаевна, казалось, не чувствовала ничего после только что данной ей встрепки.

– Ну, прощай, Глеб Алексеевич, спасибо, что вызволил, хотя может я и одна бы справилась... Заходи ко мне, коли не побрезгаешь.

Салтыков, тотчас же соскочив с облучка, стоял перед ней, освещенный луной. Дарья Николаевна невольно залюбовалась на его мужественную красоту.

– Не премину явиться к твоим родителям... – сказал он.

– Эко, хватил... К родителям только тебе как будто раненько... На том свете они оба, а косточки их на Драгомиловском кладбище.

– Так, значит, одна живешь?

– Вестимо одна... С кем же жить мне...

– Не премину заехать, коли дашь мне дозволение.

– Захаживай.

Девушка скрылась в воротах, а Салтыков, сев на пошевни, быстро поехал от дома Ивановой.

Встреча эта оставила в сердце Глеба Алексеевича сильное впечатление, особенно в последний момент прощанья с Дарьей Николаевной. Освещенная лунным светом, она стояла перед ним и он невольно залюбовался на ее глубокие

синие глаза, казалось, освещавшие правильные черты лица, резкость которых смягчалась ими, здоровый румянец на щеках. И вся ее полная грации фигура, рельефно выделявшаяся в мужском костюме, сразу бросилась ему в глаза и заставила трепетно забиться его сердце.

Всю дорогу он думал о ней, всю ночь мерещилась она ему в тревожных сновидениях. Не надо говорить, что он не замедлил своим посещением одинокой, заинтересовавшей его девушки и это первое же посещение решило его судьбу.

Он влюбился окончательно. То, что в глазах других производило отталкивающее от Дарьи Николаевны действие, ему казалось в ней особенно привлекательным. В резких выходках молодой девушки видел он непосредственность натуры, в грубости и резкости – характер, в отсутствии обыкновенного женского кокетства – правду и чистоту.

XI

Вещие сны

На другой день после встречи с Салтыковым, Дарья Николаевна проснулась утром в каком-то совершенно незнакомом ей настроении духа.

Выпив горячего сбитню с теплым калачем, она сделала свои обыкновенные хозяйственные распоряжения, на этот раз, к удивлению прислуги вообще, а Фимки в особенности, обошедшиеся не только без щедро рассыпаемых пощечин, но даже без брани и крика. Затем Дарья Николаевна молча удалилась из людской в комнаты и уселась за пядьцы. Время до обеда, который подавался ровно в 12 часов, Дарья Николаевна посвящала обыкновенно вышиванию ковров, салфеток, одеял и прочее. Работа шерстью и шелком была ее любимым занятием. Ей помогала неразлучная с нею Фимка, одна из всей дворни имевшая право сидеть при барышне.

Но работа не спорилась. Дарья Николаевна бросила иглу и задумалась. Фимка, с утра уже наблюдавшая за своей барышней исподлобья, не переставала быстро

работать иглой.

Вдруг до нее донесся тяжелый вздох. Фимка не поверила своим ушам. Этот вздох она слышала, это вздыхала ее барышня. Игла упала из рук Фимки и она уже во все свои большие черные глаза глядела на Дарью Николаевну. Сколько лет безотлучно уже находилась она при ней, но никогда не слыхала, чтобы барышня вздохнула.

«Что за причта? Что с ней делается?» – мелькнуло в голове наперсницы.

«Ага, ага...» – мысленно ответила она про себя и чуть заметно улыбнулась, постаравшись, чтобы этой улыбки не заметила барышня, углубиться в работу.

– Фимка, а Фимка!.. – позвала Дарья Николаевна.

– Чего изволите?

– Мне что-то недужится...

– Болит что?

– Нет, не болит, а так что-то не по себе, сосет под сердцем...

– С чего бы это?

– Кабы я знала, так и не говорила бы с тобой, с дурой!..

– Это вы верно, барышня, дура я и есть...

– С утра, вот, места найти не могу, а всю ночь сны какие-то нелепые в голову лезли, и все...

– Глеб Алексеевич, чай?.. – не утерпела и прервала ее Фимка.

– Это кто такой?

- Да Салтыков, вчерашний...
- А тебе почем ведомо, кто мне во сне снится, шкура ты барабанная...
- Али не угадала?
- Угадать-то угадала, да почему?
- Что, почему, барышня?
- Угадала-то ты...
- Как же не угадать-то... Видела это я, как он, сердечный, на вас поглядывал. Да и молодец он из себя... Видный такой, красивый, вас была бы на диво парочка...
- Пошла брехать несурзное.
- Отчего и не побрехать, барышня, с брехотни ничего не сделается, а коли суженый, так его конем не объедешь!..
- Суженый. Нашла суженого, - продолжала возражать Дарья Николаевна, но было заметно, что возражала она только для поддержания разговора, но что этот разговор не был ей неприятен.
- Поди, чай, сердечный, и он тоже мается, - продолжала, между тем, Фимка.
- И он, говоришь? Да разве я маюсь, сорока длинноязыкая.
- А разве не маетесь, барышня; вестимо маетесь, только ведь и недолго помаяться, приедет сокол ясный, вечер али завтра, дольше не вытерпит, прикатит.
- Да откуда ты все это знаешь, что ты размазываешь?..
- Да что тут не знать-то, видела я вечер, как вы прощались, ну, сейчас мне в башку и въехало... Кажись, думаю, обоих проняло... Он-то весь на ладони, а об

вас-то, Дарья Николаевна, было у меня сумление, а ноне, с утра, как я на вас погляжу, погляжу, вижу, что и здесь, значит, тронуло...

- Ну и дотошная ты у меня, Фимка, сметливая...

- Тоже около вас, Дарья Николаевна, а вам уму-то да разуму не занимать статью, ну и понатерлась.

- А о сне-то ты как догадалась? - задала вопрос Иванова.

- Да кому же девушке, как не парню, сниться-то!

- Снился он мне, проклятый, снился... - созналась Дарья Николаевна, - до трех раз снился и все в разных видах грезился.

- В разных видах?..

- Да, перво на перво, будто бы мы с ним в темном лесу на санях мчимся, вьюга так и поет, полозья скрипят по снегу... Жмусь я к нему крепко, крепко, мне жутко становится; глядь, а по сторонам саней кто-то тоже скачет, глаза, как угольки горят, воют, лошадь храпит, несет во весь дух, поняла я во сне, что попали мы в волчью стаю, холодный пот от страха выступил на лбу, а я ведь тоже не труслива, тебе это ведомо; он меня своим охабнем закрывает, а лошадь все несет; вдруг, трах, санки ударились о дерево, повернулись, мы с ним из них выкатились, и у меня над лицом-то не его лицо, а волчья морда теплая... Тут я и проснулась.

- Страсти какие, матушка-барышня! - воскликнула Фимка.

- Заснула опять, и снова он мне пригрезился. Снилось мне, что идем мы с ним цветистым лугом, утро будто бы летнее, раннее, на мураве-траве и на цветах еще роса не высохла, поляна далеко, далеко расстилается, и идем мы с ним уже давно, и я притомилась. «Сем-ка присядем», - говорю я ему. Выбрали мы местечко, уселись, солнышко так хорошо пригревает, кругом все тепло да радостно, вдруг, вижу я змея большая-пребольшая вокруг него обвивается и в горло ему жало впускает, я как вскрикнула и опять проснулась...

– Ишь ты, что пригрезится... – могла только выговорить совершенно испуганная Фимка.

– А под самое утро, как заснула я, он опять передо мной, как тут, является. Вижу я площадь, народ на ней кишмя кишит, я на нее смотрю из затвора какого-то, окно сеткой прикрыто, покой, в котором я нахожусь, маленький, словно мешок какой каменный, народ глядит на меня, как будто показывает, глянула я наверх, кругом тела обвитый, бледный такой да худой и на меня так грозно, грозно смотрит, что мурашки у меня по спине забегали, все ближе он к окну моему, и страх все больше во мне... С тем я уже совсем проснулась, встала и тебя кликнула... Дарья Николаевна замолчала. Молчала и Фимка.

– К чему бы это сны такие? – задала первая вопрос.

– Да ни к чему, барышня, ни к чему, Дарья Миколаевна. К чему и быть им... Так кровь девичья разыгралась, ну и полезло не весть, что в голову, – отвечала, после некоторого раздумья, Фимка, стараясь придать тону своего голоса возможно спокойный, даже небрежный тон.

– Я и сама думала, что так в голову не весть что втемяшилось, может оттузили меня вчера порядком, так от этого.

– А бока-то не болят, Дарья Миколаевна?

– Бока как ни в чем не бывало, кулачишки у них у всех не стоящие...

Казалось, облегченная от сердечной тяжести откровенным признанием, Дарья Николаевна бодро принялась за работу, но нет-нет, да поглядывала на окна, выходившие на улицу, по которой то и дело проезжали санки с обывателями и проезжими. Видимо, она ждала, веря в прозорливость своей наперсницы Фимки. Да и как было не верить ей, когда она как на ладони показала ей все волнующие ее, Дарью Николаевну, думы. Если она сумела на ее лице прочесть зароненные вчера ей в сердце добрым молодцом чувства, то, конечно, вчера же она верно прочла и на его лице те же чувства. Значит и он поспешит приехать.

Девичья кровь, действительно, как выражалась Фимка, разыгралась в Дарье Николаевне. Она переживала неведомые для нее доселе ощущения. Образ Салтыкова не только в сновидениях прошедшей ночи, но и теперь стоял перед

ее глазами, под сердцем сосало, и какое-то неопределенное беспокойство от не менее неопределенных желаний наполняло все ее существо. Она, всегда с аппетитом кушавшая заказанные ею самой вкусные, сытные и по преимуществу жирные блюда, почти не притронулась к поданному обеду.

Отправившись, как это делала всегда после обеда, отдыхать, она не улежала и пяти минут, вскочила и стала ходить нервными шагами по своей спальне. Кругом все было тихо. В доме все спало послеобеденным сном. Эта тишина, как ни странно, еще более раздражала Дарью Николаевну.

«Ишь дрыхнут, псы смердящие, телки бесхвостые, – внутренне бранила она покоящихся мирным сном Фимку и слуг. – Дрыхнут и горюшка им мало, что госпожа себе места не найдет нигде, что ни на еду, ни на сон ее не тянет...»

«Ужели, действительно, обошел он меня вчера, околдовал окаянным взглядом своим, быстрым да пронзительным», – вспомнила она слова Фимки, и как бы на этот мысленный вопрос в ее памяти восставало вчерашнее прощанье с Салтыковым, и глаза его так и стояли перед ее глазами, так и проникали в ее душу.

«Господи, вот дьявольское наваждение!.. Может, он и думать забыл о вчерашней переряженной девке, может, просто брешет Фимка, что что-то заметила?» – продолжала мысленно спрашивать себя Дарья Николаевна.

Но глаза, его глаза, стоявшие перед ней, говорили иное, успокаивая ее, доказывая воочию, что Фимка не брешет. Вчера, именно вчера, он так смотрел на нее: «как кот на сало» – привела она, по обыкновению грубое, сравнение. Но это ее не обидело: пусть смотрит именно так, а не иначе.

«ю может у него жена есть, – вдруг похолодела она вся, – или какая зазноба?»

Она вспомнила обвившуюся около него во сне змею и почему-то решила, что это именно жена или зазноба.

«Да я не посмотрю на жену и зазнобу, руками задушу... Никому не уступлю его, мой он будет, мой...»

Она упала на кровать и в каком-то припадке бешеной неудовлетворенной страсти стала грызть подушку. Все тело ее как-то конвульсивно передергивалось. Она не помнила, сколько времени это продолжалось. После приступа нервного возбуждения наступила какая-то общая слабость.

Дарья Николаевна заснула или, лучше сказать, лежала в каком-то забытьи. Ее разбудила не вошедшая, а почти вбежавшая Фимка.

– Дарья Миколаевна, Дарья Миколаевна!

– А?., что?..

– К нам гость пожаловал!

– Кто? Он?

– Он-с, он-с, Глеб Алексеевич Салтыков.

Дарья Николаевна, как была в домашнем платье, бросилась к двери.

– Принарядились бы вы, Дарья Миколаевна, – заметила Фимка.

– Ништо, хороша и так! – на ходу бросила ей ее барышня.

XII

Дочь Петра Великого

Глеб Алексеевич Салтыков принадлежал к числу московских богачей и родовитых бар. Он жил в прекрасном, богато и удобно устроенном доме, на углу Лубянки и, как тогда называли, Кузнечного моста, в приходе церкви Введения во храм Пресвятыя Богородицы. Молодой, тридцатипятилетний Салтыков только лет семь жил в Москве в бессрочном отпуску и числился ротмистром семеновского полка.

Нахождение в Москве гвардейца, Полного сил и здоровья, во время царствования «дщери Петра» Елизаветы, было явлением совершенно исключительным. В высочайшем манифесте, при вступлении на престол этой императрицы, было сказано, что цесаревна «восприяла отеческий престол по просьбе всех верноподданных, особливо лейб-гвардии полков». Поэтому представители гвардии играли в то время в Петербурге первенствующую роль и были в величайшем фаворе.

Для того, чтобы объяснить причины странного пребывания ротмистра лейб-гвардии семеновского полка Глеба Алексеевича Салтыкова в Москве, необходимо вернуться лет на восемь назад и рассказать тогдашние «петербургские действия», как называли современники происходившие в то время династические замешательства.

В октябре 1740 года, когда императрица Анна Иоанновна умирала, временщик Бирон искал себе союзников и клеветов среди придворных. Миних внушал ему страх своими успехами, коварного Остермана он также опасался. Между тем, временщик мечтал выдать свою дочь за герцога Брауншвейгского Антона или женить сына на Анне Леопольдовне, но эти мечты были разрушены самой императрицей – она устроила брак Анны с Антоном и назначила наследником только что родившегося у них сына Ивана.

У Бирона тогда явился новый клевет, в лице дипломата Бестужева-Рюмина, которому он дал место Волынского в кабинете. Он-то и выручил благодетеля, в последние дни жизни Анны Иоанновны заявив прямо и громко, что, кроме Бирона, «некому быть регентом». Он согласился составить челобитную, Якобы «вся нация герцога регентом желает», и императрица успела подписать бумагу о «полной власти» регента Бирона до совершеннолетия Ивана VI. Тогда к Бестужеву пристал Миних, Черкасский и горячее всех Остерман. Бирон долго отнекивался и наконец воскликнул:

– Вы поступили как древние римляне!

Какой страшной насмешкой звучат теперь эти слова!

Родители Ивана не могли сопротивляться. Герцог Антон был бездарен и труслив столько же, сколько своенравен и избалован, и у него не было связей в чужой стране. Миловидная, кроткая, доверчивая Анна Леопольдовна, которой было

всего 22 года, обладала смыслом и добрым сердцем, но была сонлива, необразована и забита тираном-отцом и грубою матерью, которая напоминала свою сестру Анну Иоанновну. Ни во что не вмешиваясь, сидела герцогиня дома, неубранная, подвязав голову платком, с одною фрейлиною, в скуке смертной.

Она не терпела мужа, которого навязали ей «проклятые» министры и жаловалась на свою судьбу ловкому красавцу, саксонскому посланнику Линару. Кроме этого единственного, преданного ей, но сравнительно бессильного человека, был еще другой, уже совершенно ничтожный и слабый, не смевший к ней даже приблизиться, но безумно влюбленный в герцогиню и готовый за нее пойти в огонь и в воду – это был молодой гвардейский офицер Глеб Алексеевич Салтыков, пользовавшийся покровительством Черкасского.

После смерти Анны Иоанновны, регент Бирон остался в Летнем дворце. Ему, обладателю 4 миллионов дохода, назначено 500000 пенсии, а родителям императора – только 200000. Герцог Антон, попытавшийся показать свое значение, был подвергнут домашнему аресту с угрозой попробовать рук Ушакова, тогдашнего начальника тайной канцелярии. Пошли доносы и пытки за малейшее слово, неприятное регенту, спесь и наглость которого достигли чудовищных размеров.

Бирон обращался по-человечески только с цесаревной Елизаветой Петровной. У него зародилась мысль женить на ней своего сына, и он уже открыто поговаривал о высылке «Брауншвейгской фамилии» из России. Наглость зазнавшегося проходимца стала нестерпима. Несмотря на ужасы застенков тайной канцелярии, даже на улицах собирались мрачные толпы народа; по казармам слышался ропот. И везде перелетало имя Елизаветы, как веяние духа Великого Петра.

Идеал создан, оттертый фаворитом от заслуженного первого места, опальный Миних, ожидавший себе ссылки от властительного соперника, предложил Анне Леопольдовне освобождение и, получив согласие, в тот же вечер весело поужинал в Летнем дворце, а ночью арестовал его хозяина, назвав его своим гренадерам «вором, изменником, похитителем верховной власти». Бирона вытащили в одном белье из-под кровати. Другой отряд гренадер арестовал Бестужева. Затем схвачены были два брата регента и его зять, генерал Бисмарк.

Это было в ночь на 9 ноября 1770 года.

В качестве волонтера при всех этих действиях был и Глеб Алексеевич Салтыков. Остерман, которого все считали тайною причиною низвержения регента, лежал совершенно больной. Но когда его позвали, он первый явился в Зимний дворец и сердечнее всех поздравил Миниха с новым подвигом. Остерман и вельможи признали Анну Леопольдовну правительницей, а Антона – генералиссимусом, то есть высшим чином в государстве. Бестужев был сослан в свою деревню. Бирон, после трехнедельного регентства, попал с родней в Пелым, где он и поселился с женой, сыновьями, дочерью, пастором и врачом, в домике, план которого был начертан самим Минихом.

Временщиком стал новый немец, но это был Миних. Он мечтал об исправлении внутренних дел в духе Петра I, в особенности об ослаблении Австрии и о взятии Константинополя. Старый герой надеялся достигнуть заветной цели, с помощью юного товарища, Фридриха II прусского, который тогда начал войну за австрийское наследство, чтобы уничтожить свою соперницу, императрицу Марию Терезу. Не прошло и пяти месяцев, как Россия очутилась в руках нового временщика. На этот раз пришла очередь графа Андрея Ивановича Остермана.

Он привлек на свою сторону герцога Антона, которого оскорбляло первенство по одному имени, и графа Линара, который не довольствовался первенством в покоях правительницы. В пользу ему послужило личное отвращение Анны Леопольдовны к первому министру, который надоедал ей скучными делами и угнетал её своим могуществом.

Однажды Миних занемог. Остерману не трудно было убедить правительницу, что он лучше понимает дипломатию, чем фельдмаршал. Антон, между тем, нашептывал ей в другое ухо, что ее спаситель хочет стать «верховным визирем». Анна Леопольдовна подписала союзный договор с Австрией.

Выздоровевший Миних немедленно пригрозил отставкой, но она была принята в конце 1741 года. Грозный полководец мирно удалился в свое имение и собирался отъехать на службу к Фридриху II. Но его так боялись, что Анна и Антон переменяли спальни каждую ночь, а Миниха озолотили добром, отобранным у Бирона: его годовой доход возрос до семидесяти тысяч рублей.

«Настоящим царем российским», по словам посланников, стал Остерман, но всего на 8 месяцев. У него не оказалось помощников; никто ничего не делал, всякий заботился только об ограждении своей собственной особы.

Правительница по-прежнему скучала и трепетала за судьбу своего собственного

ребенка.

Герцог Антон, муж ее, одолеваемый жаждой власти, которая прошла мимо него; а на смену временному царю возвышался Линар.

Покуда муж и фаворит разделяли ненависть к хитрому дипломату, последний, наконец, запутался в собственных сетях. Его союз с Австрией вызвал вражду Франции, которая помогла Фридриху II. Он побудил Швецию объявить России войну, а в Петербурге орудовал его посланник, маркиз Шатарди – ловкий напудренный щеголь, любезный остряк и гостеприимный весельчак. Он сорил деньгами, чтобы низвергнуть Брауншвейгскую фамилию. Шатарди мог совершить переворот только во имя Елизаветы Петровны, в которой был близок его друг, веселый и всеведущий хирург Лесток, вызванный в Россию еще Петром Великим.

Дочь преобразователя силою вещей выдвигалась на первый план в разгаре национального чувства, которое овладевало русскими, видевшими, что наверху, при падении одного немца возникал другой, а дела все ухудшались.

Про верховных иностранцев распускались самые чудовищные сплетни. Народ говорил, указывая на окно цесаревны:

– Петр Великий в Российской Империи заслужил; орлом летал и соблюдал все детям своим, а его дочь оставлена.

Всем нравилось, что Елизавета избегла браков с иностранцами и постоянно жила в России. Ходили слухи, что иноземные временщики преследовали ее: действительно, ей давали мало средств, при ней состоял урядник, который следовал за ней даже по городу. Ее двор был скромн и состоял из русских: Алексея Разумовского, братьев Шуваловых и Михаила Воронцова.

Сама цесаревна превратилась из шаловливой красавицы, какой она была в ранней молодости, в грустную, но ласковую женщину, величественного вида. Она жила с чарующею простотой и доступностью, каталась по городу, то верхом, то в открытых санях, и посещала святыни. Все в ней возбуждало умиление народа: даже гостиннодворцы не брали с нее денег за товары. Но чаще всего видели ее в домике у казарм, где она крестила детей у рядовых и ублажала родителей крестников, входя даже в долги. Гвардейцы звали ее «матушкой».

Между тем, шведы, по требованию Шатарди, объявили, что воюют «для освобождения русского народа от несносного ига иностранцев». Испуганная Анна Леопольдовна собиралась провозгласить себя императрицей.

Лесток набросал для цесаревны два рисунка: на одном она была изображена с короной на голове, на другом – монахиней, с орудиями пытки у ног.

– Если так, то я покажу всем, что я – дочь Петра Великого! – воскликнула Елизавета.

XIII

Мечтатель

Правительницу со всех сторон предупреждали об опасности, но она называла все это «пустыми сплетнями» и осыпала цесаревну ласками и подарками. Она даже показала ей последний донос. Елизавета уверяла ее в верности, обливаясь слезами.

На другой день, ночью 29 ноября 1741 года, она помолилась, клянясь никогда не подписывать смертных приговоров, и поехала с своими царедворцами в казармы Преображенского полка.

– Знаете, чья дочь я? Освободимся от наших мучителей-немцев! – сказала она.

– Всех их перебьем, матушка! – крикнули усачи.

Но цесаревна взяла с них слово не проливать крови. Гренадеры пронесли ее на руках в Зимний дворец, погруженный в глубокий сон. Елизавета Петровна сама увезла к себе Ивана и все жалела и ласкала малютку. Остальная Брауншвейгская фамилия была отправлена в Петропавловскую крепость, куда доставили также Остермана, Головкина, даже опального Миниха и других, всего до 20 особ.

Утром народ ликовал по улицам, греясь у костров. Особенно радовалась рота преображенцев. Она была названа «лейб-компанией», что напоминало «надворную пехоту Софьи». Каждый рядовой стал дворянином и получил деревню с крестьянами. Люди, страдавшие при двух Аннах, были осыпаны милостями во главе их были уцелевшие из Догоруких и Бирон.

Остермана и Миниха и других судили и определили: первого колесовать, второго – четвертовать, а остальных сослать в Сибирь. На эшафоте Остерман уже положил голову на плаху, как вышло помилование; его сослали в Березов, Миниха в Пелым. На пути с Сибирь, Миних встретился с возвращавшимся Бироном. Соперники-временщики молча раскланялись. Анну Леопольдовну с мужем отправили в Ходмогоры, где она умерла через пять лет.

Иоанн VI был заключен в Шлиссельбургскую крепость, где он, бывший 13 месяцев императором, просидел двадцать три года.

Преданность правительнице Глеба Алексеевича Салтыкова оставалось незамеченной, и он мог бы, отрешившись от этой привязанности, сделать карьеру, но, увы, образ Анны Леопольдовны, окруженный после ссылки для него ореолом мученичества, стоял перед ним и тоска, невыносимая тоска сосала его сердце. Наступившее праздничное настроение придворных и военных, а также и толпы стало для него невыносимым, и он, на удивление своих товарищей по полку и начальства, попросился в бессрочный отпуск. Близкие его друзья знали причину такого поступка Салтыкова, но молчали, боясь навлечь беду на друга. Они даже не разговаривали с ним об этом и делали вид, что верят в домашние обстоятельства и хозяйственные неурядицы, которые призывали его в Москву. Долго после его отъезда они ждали, что он выкинет какую-нибудь безумную шутку для спасения бывшей правительницы, но со временем успокоились.

Салтыков уехал в Москву и о нем в Петербурге не было ни слуху, ни духу. Он забыл всех. Забыли и его.

Товарищи опасались напрасно. Глеб Атексеевич не был по натуре политическим деятелем, способным на решительные шаги, на организацию какого-либо дела. Это был тихий, всегда задумчивый мечтатель и, быть может, составлял единственное исключение из тихих людей, в которых не водятся, как в тихом омуте, черти.

Он ушел в самого себя, жил в Москве почти затворником и ограничился лишь тем, что завел сношения с одним из политических чинов города Холмогор, от которого и получал известия о здоровье и состоянии духа «известной особы». С необычайным волнением ожидал он писем, приходивших не более раза в два месяца и, казалось, его жизнь состояла в этом ожидании, а время исчислял он по срокам их получения. Он читал и перечитывал их по несколько раз, хотя они подчас заключали в себе лишь несколько строчек, написанных официальным языком приказных того времени, и прятал их в особую шкатулку из розового дерева с серебряной короной на крышке, стоявшую в самом дальнем углу его шифоньера. Серебряный ключик от шкатулки он носил постоянно на кресте. Многочисленная московская родня Глеба Алексеевича была поражена его приездом в Белокаменную, когда узнала, что этот приезд не временный, что Салтыков, бывший на блестящем счету у начальства, приехал в бессрочный отпуск, что в то время означало полное отставление службы.

Недоумевали о причинах, так как, несмотря на поставленные многими из его родственников категорические вопросы, удовлетворительного ответа от Глеба Алексеевича не получалось. Он отделялся сначала общими фразами: домашними обстоятельствами, устройством дел, а в конце концов начал просто отмалчиваться.

Синклит родственников решил, что молодец дурит, что надо его женить, так как несомненно, что в Петербурге у него завелись амуры, но неудачные, и он бежал оттуда, чтобы приютиться вдали от любимого, но не любящего предмета. Они были почти на дороге к истине, но, конечно, им в голову не приходило, что предмет платонический, безнадежной любви Салтыкова – холмогорская пленница, бывшая правительница, герцогиня Брауншвейгская, Анна Леопольдовна, быть может, даже не знавшая о существовании влюбленного в нее гвардейского ротмистра.

Невест в Москве и тогда, как и теперь, было, что называется, хоть отбавляй, Глеб же Алексеевич Салтыков представлял из себя блестящую партию для девушки даже из самого высшего московского круга. Древнего рода, гвардейский офицер, образованный, красивый, богатый и молодой, не кутила, не мот и не пьяница – качества, редко соединяющиеся в одном лице и, несомненно, делавшие Салтыкова одним из лучших московских женихов. Но старанья родных, папенок и маменек невест и даже этих последних, не имели успеха.

Первые пять лет своего пребывания в Москве Глеб Алексеевич положительно поражал своих многочисленных родственников своим нелюдимством. Он едва исполнял, строго соблюдавшиеся в Москве, официальные визиты. Заманить же его на бал или на простой вечер, вначале, по приезде, не было совершенно возможности. Затем, когда он несколько обжился, он бывал на таких сборищах, но прелести московских красавиц не производили, видимо, на него никакого впечатления.

Он был с «московскими барышнями» вежлив, с их родственниками – почтителен... и только. Напрасно первые пускали по его адресу стрелы своих прекрасных глаз и строили коварные, но, вместе с тем, и многообещающие улыбки, напрасно довольно прозрачно намекали на выдающиеся достоинства своих дочерей, как будущих хозяек и матерей, и яркими красками рисовали прелести семейной жизни, теплоту атмосферы у домашнего очага, огонь в котором поддерживается нежной рукой любимой женщины. Все это не попадало в цель, оказывалось холостыми выстрелами.

– Экий чурбан какой! – говорили сердитые маменьки.

– Бездушный, бессердечный, каменный... – вторили им разочарованные дочери.

– Беспутник, масон! – решили папеньки. Родственники Глеба Алексеевича положительного недоумевали.

– Ты что же в Москву-то приехал?.. Зачем? – все настойчивее и настойчивее стали чинить они ему допросы.

– Как зачем? Жить... – отвечал он.

– Жить... Чай в Петербурге можно было жить. Опять же ты там при службе был, а здесь так баклуши бьешь, а лета-то уходят...

– Надоела служба... Здесь у меня тоже дело есть...

– Какое бы это?

– Да так, по домашности, по хозяйству...

- Какое у тебя, бобыля, хозяйство... Вот если бы в закон вступил...

- Не найду по сердцу...

- Какую же это принцессу заморскую надобно сердцу-то твоему? Кажется, в Москве невесты-то отборные, выбирай только... Не хороши, что ли?

Тут начинались перечисления десятка двух красавиц и богатых девушек, состоявших на линии невест.

- Хороши.

- Что же думать-то?..

- Не по сердцу...

- Фу, ты, заладил! Да почему же?

- Не знаю...

- Так ехал бы в свой Питер... Там, может, лучше найдешь...

- И там не найдешь...

- А все-таки поехал бы, попытал...

- Да зачем?.. И что я здесь, кому мешаю, что ли?.. - раздражался, наконец, Глеб Алексеевич, несмотря на свой невозмутимый, кроткий нрав.

- Не мешаешь... А так только, соблазн один... Лучше бы уехать с глаз долой.

- Да кому какой соблазн?

- Да всем. Чай девицы-то не каменные у нас, а ты мужчина красивый, из дюжины не выкинешь.

– Так что ж?..

– Ну, значит, у них к тебе сердца лежат, а ты нако-сь...

– А, вот что...

– То-то оно, вот что...

Под такими допросами Глебу Алексеевичу приходилось находиться очень часто, особенно за последнее время, когда после полученной из Холмогор роковой вести о смерти предмета его платонической любви – герцогини Анны Леопольдовны, около двух месяцев не выходил из дому, сказавшись больным и предаваясь наедине сокрушению о постигшей его утрате.

Но время залечивает всякие раны. Залечило оно и сердечную рану Салтыкова, он снова вошел в колею московской жизни, и даже, как это ни странно, почувствовал, что с его сердца спала какая-то тяжесть, и ему легче стало дышать и жить.

Это-то изменившееся настроение духа Глеба Алексеевича заставило его родственников особенно часто приступить к нему за допросами, вроде только что переданных. Они полагали, что теперь именно «приспело время». Особенной настойчивостью в преследовании матримониальных целей относительно Глеба Алексеевича была его тетка Глафира Петровна Салтыкова, вдова генерал-аншефа, богатая и всеми уважаемая в Москве старуха. Она не давала прямо проходу племяннику, и он принужден был бегать от нее как от чумы.

– Нет, ты мне скажи, чем они не взяли? Всем взяли, всем... – допытывалась она у него.

При этом снова следовало перечисление десятка намеченных ею для племянника невест.

– Не по сердцу они мне, тетушка... – отбояривался Салтыков.

– Да почему?..

– Не знаю, не лежит к ним сердце... вот и все.

– Мечтатель... – выпалила тетушка, признавая эту кличку за самую бранную.

Прозвище «мечтатель» утвердилось, с ее легкой руки, за Глебом Алексеевичем Салтыковым.

XIV

В сетях соблазна

Не было, конечно, никакого сомнения, что среди невест, наперерыв предлагаемых Глебу Алексеевичу Салтыкову его родственниками, с теткой Глафирой Петровной во главе, были вполне достойные девушки, как по внешним физическим, так и по внутренним нравственным их качеством.

Почему же на самом деле не лежало к ним сердце молодого Салтыкова? Почему, наконец, он, говоря, что его сердце не лежит к ним, не мог объяснить ни своим родственникам вообще, ни особенно донимавшей его этим вопросом Глафире Петровне, причины этого равнодушия к физической и нравственной красоте московских девиц? Он был совершенно искренен, отвечая на этот вопрос: «не знаю».

Постараемся мы за него объяснить это обстоятельство. Платонически влюбленный в герцогиню Анну Леопольдовну, он, конечно, окружил мысленно этот свой идеал ореолом физической и нравственной красоты. Под первой «мечтатель» Салтыков, конечно, разумел женственность, грацию, ту тонкость и мягкость форм, какими обладала бывшая правительница, которую он видел не в ее домашней небрежности, а лишь при официальных приемах, окружённую обстановкой, составлявшей благородный фон для картины, которой она служила центром.

Понятно, что ни одна московская красавица не могла поразить его теми качествами, которыми обладал предмет его мечтаний, или, лучше сказать, которыми он наделил этот предмет. Отсюда ясно, что ни одна из них не могла

обратить его долгого внимания, которое всегда бывает началом зарождающегося чувства. Вот почему ко всем этим избранным его родственниками и тетушкой Глафирой Петровной невестам не лежало, по его собственному выражению, его сердце.

И после полученного им рокового известия о смерти герцогини Анны Леопольдовны, после дней отчаяния, сменившихся днями грусти, и, наконец, днями постепенного успокоения, образ молодой женщины продолжал стоять перед ним с еще большей рельефностью, окруженный еще большею красотой внешнею и внутреннею, чтобы московские красавицы, обладающие теми же как она достоинствами, но гораздо, по его мнению, в меньших дозах, могли заставить заботиться его сердце. Та же мечтательная, платоническая, поэтическая, так сказать, сторона любви иссякла в многолетнем чувстве, истраченном им на его недостижимый кумир.

Кумир был разбит, разбито было и чувство. Но Глеб Алексеевич, несколько лет жив поклонением своему идеалу, все же состоял из плоти, костей и крови, и чтобы чисто животная сторона человека, столько лет побеждаемая им, не воспрянула тотчас же, как только предмет его духовного поклонения исчез, перестав властвовать в его сердце, поборола плотские страсти. Они проснулись и стали искать себе выхода. Как в погибшем олицетворении своего идеала он искал высшую женскую духовную красоту, женщину-ангела, так теперь поработить его могла лишь вызывающая, грубая физическая красота, женщина-дьявол. Совершенства добродетели также редко встречаются в жизни, как и совершенства порока.

С течением времени этот взрыв страстей в Глебе Алексеевиче мог бы улечься: он рисковал в худшем случае остаться старым холостяком, в лучшем – примириться на избранной подруге жизни, подходившей и к тому, и к другому его идеалу, то есть на средней женщине, красивой, с неизвестным темпераментом, какие встречаются во множестве и теперь, какие встречались и тогда. Он, быть может, нашел бы то будничное удовлетворение жизнью, которая на языке близоруких людей называется счастьем. Но судьба решила иначе.

Встреча с Дарьей Николаевной Ивановой, случившаяся в момент возникшего в Салтыкове нравственного перелома, решила все. Подобно налетевшему порыву ветра, раздувавшему в огромный пожар уже потухающую искру, встреча эта разожгла страсти в сердце Глеба Алексеевича и с неудержимой силой потянула его к случайно встреченной им девушке. Самая оригинальность встречи, этот

мужской костюм, эти засученные для драки рукава, обнажившие сильные и красивые руки – все казалось чем-то пленительным Салтыкову.

Когда он подхватил в свои могучие объятия упавшую от удара Дарью Николаевну и почувствовал, что он держит не задорного, драчливого молокососа-мальчишку, а девушку, все существо его вдруг задрожало от охватившей его страсти, и он понес ее бесчувственную к своим саням, крепко прижимая к себе ее, перетянутый кушаком, гибко извивающийся стан. Ему надо было много силы воли, чтобы выпустить ее из своих объятий и положить в сани.

Когда они прощались у дома Ивановой на Сивцевом Вражке, и она стояла перед ним, освещенная луною, он весь трепетал под ласкающим взглядом ее синих глаз, под обаянием всей ее фигуры, особенно рельефно выделявшейся в мужском платье, от которой веяло здоровьем, негой и еще непочатою страстью. Фимке не надо было быть особенно дотошной и сметливой, чтобы понять, что его, как она выразилась, «проняло».

Глеб Алексеевич вернулся домой в каком-то тумане. Кровь то и дело бросалось ему в голову, в виски стучало, он чувствовал себя совершенно разбитым, точно не Дарью Николаевну, а его побили при выходе из театра. Он не догадывался, что нравственно с этой минуты он не только был избит, но убит, хотя предчувствие какой-то опасности, какой-то безотчетный страх наполнили его душу. Вылив на голову несколько кувшинов холодной воды, он пришел в себя. Немного успокоившись, он лег в постель, потушил свечу и начал стараться заснуть. Но сон бежал его.

Ему казалось, что он все еще держит в объятиях эту первый раз встреченную им девушку, произведенную на него вдруг ни с того, ни с сего такое странное, сильное впечатление. Кто она? Он не знал этого. Может ли он надеяться овладеть ею? Этот вопрос оставался для него открытым. «А быть может это и не так трудно! – жгла ему мозг мысль. – Она живет одна... Бог весть, кто она!»

Свежесть цвета ее лица, глубокие синие глаза служили, по его мнению, ручательством за ее непорочность. Но она, переодетая мужчиной, с переряженной дворовой девкой в театре, затевающая драку с уличными головорезами! Это не совмещалось в его голове с понятием о порядочности.

«Что же, она сирота, без отца и матери... Кому же руководить ею... И, наконец, что же тут такого? Не все же девушка должна только вышивать сувениры и изображать из себя тепличный цветок... Должны быть в природе цветы и полевые, растущие на воле».

Таким роскошным, по своей окраске, с приподнятой гордо головкою, цветком представлялась ему Дарья Николаевна. Эта сила мужчины, заключенная в прекрасную оболочку женщины, не встречаемая им доселе, пленила его.

«Эта если полюбит, так полюбит, если обнимет, так обнимет, если обожжет поцелуем, так на самом деле почувствуешь себя в огне...» – мысленно говорил он сам себе.

Этот огонь, он чувствовал это и теперь, жег его.

«Надо, однако, все-таки, разузнать о ней, – решил он, вняв голосу благоразумия. – Если, Боже упаси, она из непутевых, надо забыть ее».

Он говорил это самому себе, но вместе чувствовал, что какая бы справка ни принесена была ему об этой девушке, забыть ее он не будет в состоянии. Он откинул мысль наводить справки... Он счел это недостойным ни себя, ни ее. С этой мыслью он заснул.

Забывшись на какой-нибудь час времени, он в шестом часу был уже на ногах и, вскочив с постели, надел туфли и халат. На дворе было еще совершенно темно. Он сам зажег, стоявшие на столе, восковые свечи и стал ходить по своей спальне. Это была большая комната в три окна, выходившие в обширный сад, в котором среди густых деревьев, покрытых инеем, чуть брезжил поздний рассвет зимнего дня.

«К чему справки? К чему вмешивать сюда людей? Узнаю все сам... Побываю сегодня же!» – решил он в своем уме.

Он подошел к большому, крытому красным сафьяном дивану, стоявшему напротив роскошной кровати с красным же атласным балдахинном, кровати, на которой он только что провел бессонную ночь, и грузно опустился на него. кругом все было тихо. В доме еще все спали.

Глеб Алексеевич стал осматривать свою спальню, в которой все было уютно и комфортабельно, начиная с кровати красного дерева, резного такого же дерева туалета, с разного рода туалетными принадлежностями, блестящими серебряными крышками склянок и флаконов и кончая умывальным столом с принадлежностями, также блестящими серебром; Все было чисто и аккуратно прибрано, все блестело довольством. Массивная мебель, стулья и диван, на котором он сидел, покрытые красным сафьяном, и большой во всю комнату пушистый красный ковер придавали этой сравнительно большой комнате уютность и что-то манящее к покою. Видно было сейчас, что эта спальня состоятельного и любящего жизненный комфорт человека.

Глеб Алексеевич любил свою спальню, и часто, в минуты испытываемой им еще недавно душевной тоски, удалялся именно сюда и лежал на этом диване, не выходя в остальные комнаты по несколько дней. Сюда подавали ему и утренний сбитень, и обед, и ужин. Здесь, казалось ему, он обретал покой своим разбитым нервам или, как он выражался, своим поруганным чувствам. Поруганным злодейскою судьбой, не давшей ему возможности даже довести о них сведения той, которой всецело принадлежало его бедное, истерзанное безнадежной любовью сердце. Сколько раз здесь, на этом самом диване, воссоздавал он в своем воображении образ своего кумира, все здесь напоминало ему его, он видел ее благосклонную улыбку и был счастлив.

Здесь же пролежал он несколько дней, получив роковую весть из Холмогор, пролежал почти без пищи, вперя свой взгляд в одну точку и чувствуя себя недалеким от приступа безумия. На этом диване перегорело в нем его горе, он встал с него несколько успокоенный, силою воли старался развлечься, и время сделало свое дело. Он возвратился сюда уже с меньшею тягостью в сердце, утешенный верою в загробную жизнь, непоколебимым убеждением, что там, на небесах, ее ждет покой и блаженство, за все те страдания, которые здесь, на земле, причинили ей люди.

Он верил, что ее душа, освободившись от бренного тела, получила дар большого видения, знает и чувствует, как он любил ее здесь, на земле, и при встрече там она улыбается ему, если не более нежно, то более сознательно, чем улыбнулась в ночь переворота 9 ноября 1740 года, когда он доложил ей об аресте Бирона и его клеветов. Он хотел заслужить это свидание чистотой тела и духа и в этом направлении определил режим своей будущей «жизни» и вдруг... все кончено.

На этом же самом диване он лежит теперь, обуреваемый страстью, и эта самая его любимая комната кажется ему пустой и мрачной, а воображение рисует ему красненький домик в тупике Сивцева Вражка и задорное лицо красавицы, с чудной фигурой, в мужском одеянии. Он понимает, что его дух побежден, что наступает торжество тела, что это соблазн, что это погибель, но какая-то страшная, непреодолимая сила тянет его на этот соблазн, как мотылька на огонь, толкает его на эту погибель. И он пойдет.

Кроткие лики святых, кажется ему, укоризненно смотрят на него из красного дерева киота, стоящего в углу на угольнике, освещенные неугасимой лампадой. Он прячется от их взглядов, он старается не глядеть на них и не в силах сотворить утренней молитвы и осенить себя крестным знаменем.

Свет яркого зимнего утра уже врывается в окно, когда он, шатаясь, выходит из спальни и наскоро выпив горячего сбитню, велит запрягать лошадей в маленькие сани, и один, без кучера, выезжает из дома, чтобы на просторе полей и лесов, окружающих Москву, на морозном воздухе освежить свой помутившийся ум.

XV

В красном домике

Глеб Алексеевич выехал на заставу, ударил по лошади и как стрела помчался, куда глаза глядят. Сколько проехал он верст – он не знал, но только тогда, когда увидел, что утомленный красивый конь его был положительно окутан клубами, шедшего от него пара, а руки его затекли от держания возжей, он приостановил лошадь, повернул снова к Москве и поехал шагом. Быстрая езда всегда производила на него успокаивающее впечатление. Так было и теперь.

Мысли его прояснились, но несмотря на это, в них, все-таки, Царила встреченная им накануне девушка. Он решил сегодня же воспользоваться данным ему позволением заехать к увлекшей его красавице.

Когда он снова подъезжал к Москве, солнце уже высоко стояло над горизонтом. Глеб Алексеевич почувствовал, что он очень голоден, но, несмотря на это, не

прибавляя шагу лошади, доехал до своего дома и только тогда уселся за завтраком. Успокоенный принятым решением сегодня же повидать Дарью Николаевну, он кушал с обычным аппетитом, и после завтрака, с заботливостью для него необычной, занялся своим туалетом.

Был уже второй час дня, когда он в щегольских городских санях, запряженных парой красивых рысаков, с таким же щегольски одетым кучером на козлах, выехал из ворот своего дома, и на вопросительный взгляд Гаврилы – так звали кучера – сказал:

– На Сивцев Вражек. Лошади помчались.

Глеб Алексеевич провожал Дарью Николаевну накануне поздним вечером, а потому, въехав днем в Сивцев Вражек, не мог сразу ориентироваться и найти заветный домик, куда стремился всем своим существом. Пришлось обратиться с вопросом к попадавшимся пешеходам. Два-три человека отозвались незнанием. Наконец, им встретился какой-то старичок в фризовой шинели.

– Почтенный, а почтенный, позвольте вас спросить, где тут дом Ивановой? – обратился Салтыков к нему, когда кучер, поровнявшись с пешеходом, остановил лошадей.

– Иванова фамилья, сударь мой, довольно распространенная, а потому в здешних местах домов Ивановых чуть ли не целый десяток... Вот мы стоим, у дома Иванова, насупротив наискось дом Иванова, на углу далее тоже дом Иванова... Кто он такой?.. – рассудительно и толково отвечал старик.

– Не он, а она.

– Она, а как звать?

– Дарья Николаевна.

– А... – вдруг даже чему-то обрадовался старик. – Дашутки-звереныша... Чертова отродья... Это, сударь мой, сейчас налево в тупичке будет... Красненький домик.

Данные предмету его исканий далеко не лестные прозвища не ускользнули от внимания Глеба Алексеевича и он остановил седого старика строгим тоном.

– А позвольте, сударь, вас спросить... по какому праву вы так относитесь к сей девице?

Старик положительно загоготал.

– Девице... А эта девица, сударь, эти прозвища еще с измальства получила, и во всем околотке ей другого наименования нет-с... И скажу вам еще, что кличка эта ей, как говорит пословица: «по Сеньке и шапка». Прощенья просим...

Старик спокойно пошел своей дорогой, ворча себе под нос.

– Девица, девица...

Салтыков с недоумением поглядел ему вслед, но решил более не входить в объяснения с этим «сумасбродным старикашкой», как мысленно назвал он прохожего.

– Пошел! – крикнул он кучеру.

Через несколько минут он уже въезжал во двор дома Дарьи Николаевны.

«Однако, странно, за что это ее так не любят?» – мелькнуло в его голове воспоминание о словах прохожего старика.

Фимка увидела приезд гостя из окна и, как мы знаем, побежала будить барышню, в то время, когда заспанный подросток лакей отворял Глебу Алексеевичу дверь и, сняв с него шубу, растерянно произнес:

– Проходите в комнаты.

Салтыков вошел с трепетно бьющимся сердцем. Комната, в которую он вступил, производила впечатление довольства и уюта. Особенно поражали царствующие в ней порядок и чистота. Пол блестел точно свежее выкрашенный, потолок и стены, выбеленные краской, были чисты как снег, окна, уставленные

цветами, каждый листок которых блестел свежестью, был без малейшего пятнышка, мебель красного дерева, крытая зеленым сафьяном, была как бы только выполирована, хотя было видно, что все это наследственное, старинное. Обстановка действует на человека, и приятное впечатление, произведенное на Глеба Алексеевича жилищем его новой знакомой, заставило его забыть болтовню «сумасбродного старика».

Он несколько раз прошелся по зале. В отворенные настеж двери виднелась другая комната – гостиная, тоже отличавшаяся уютностью и, видимо, царившим во всем доме необычайным порядком. Там мебель была тоже красного дерева, но подушки дивана и стульев были крыты пунцовым штофом.

«Однако, видно, она хорошая хозяйка... – подумал Салтыков, – может строга, за это ее и недолюбливают; да без строгости оно и нельзя...»

– А, рыцарь-избавитель... – слышался возглас, прервавший его думы.

Перед ним стояла Дарья Николаевна. Одета в свое домашнее холщевое платье, красиво облежавшее ее полную, округлую фигуру, она казалась выше ростом, нежели вчера, в мужском костюме.

– Не утерпел не воспользоваться вашим любезным приглашением... – расшаркался перед ней Глеб Алексеевич. – Если же не во время беспокоил, прошу прощенья, не задержу... Не во время гость хуже лихого человека.

– Чего беспокоил, чего не во время, нечего размазывать, я ведь ждала...

– Не нахожу слов благодарности вас за вашу любезность...

– Любезность! Нет уж оставьте, я не из любезных, люблю правду матку резать в глаза и за глаза.

– Правда – это достойнейшее украшение женщины.

– Да вы питерский?..

– Служил в городе Петербурге.

– То-то так красно говорите, не по-московски, у нас проще... Да что же мы стоим... Прошу в гостиную... Может закусить хотите...

– Былое дело, благодарю вас.

– Ну, потом, посидев... Горяченьким сбитнем побалуемся али водицей какой... все есть, хозяйство ведется как следует, не глядите, что я бобыль-девица...

– Вижу я, достопочтенная Дарья Николаевна, уже любовался на царящее в этом жилище чистоту и порядок... Девица, можно сказать, едва вышедшая из отрочества.

– Эк хватили, мне скоро девятнадцать...

Дарья Николаевна усадила гостя в покойное кресло и сама села на диван.

– Какие же эта лета, ребяческие... Как вы управляетесь?.. Вероятно, есть в доме старуха ключница?

– Нет, нянька была, да с год как умерла, но я и ту не допускала... Все сама.

– Затруднительно.

– Не легко с народом, иногда руки болят учить их, идолов... Слава Создателю, что не обидел кулаками.

Дарья Николаевна показала гостю свой, надо сказать правду, довольно внушительный кулак. Салтыков несколько смутился, но тотчас же оправился, и желая попасть в тон хозяйке, заметил:

– Без этого нельзя...

– Эк хватили, без этого... Да тогда из дома беги, в грязи навалешься, без еды насидишься, растащат все до макового зернышка.

– Правильно, правильно...

- А у вас тоже хозяйство?

- Именьишки есть, дома-с...

- Сами ведете?

- Кому же вести? Я тоже бобыль...

- Тоже... - с нескрываемой радостью воскликнула Дарья Николаевна, и эта радость не ускользнула от Глеба Алексеевича.

- Вдовы?

- Нет-с, холост...

- И управляетесь?

- По малости.

- Чего же не женитесь... Такой красивый, видный мужчина, хоть куда! Али Москва клином сошлась, невест нет...

Салтыков окончательно сконфузился.

- Захвалили совсем, не по заслугам...

- Что там захвалили, правду говорю, сами, чай, знаете. Может разборчивы очень? - допытывалась Дарья Николаевна.

- До сих пор не встречал по сердцу... - подчеркнул первые слова Глеб Алексеевич.

Иванова поняла и вся вспыхнула. Он залюбовался на ее смущение.

- Что же, может встретите... - после некоторой паузы произнесла она и обвела его пылающим взглядом.

- Больше уж не встречу... - загадочно произнес он.

Она снова вспыхнула, но все же нашла нужным переменить разговор.

- Скоро вы нашли мой дом-то?.. Чай, поздним вечером и не заметили, куда привезли переряженных баб?.. - спросила она.

- Малость попутал... Прохожие указали.

- Как не указать, где живет «Дашутка-звереныш», «чертово отродье».

- Вы знаете?

- Чего знаю? Что так меня зовут-то? Конечно знаю; не любят меня в околотке-то...

- За что же?

- Не под масть я им... Компании с их сынками да дочерьми не вожу, сплетни не плету... Да и зла я очень...

- Что вы?..

- Чего, что вы?.. Говорю зла... Берите, какая есть...

- Ох, как взял бы!.. - не удержавшись воскликнул Глеб Алексеевич.

- Спешлив больно! - усмехнулась Дарья Николаевна. Он смешался и молчал.

- Называют еще меня проклятой; я и есть проклятая... - продолжала она.

- Бог с вами, что вы говорите! - воскликнул он.

- Нет, правду, меня мать прокляла и так умерла, не сняв с меня проклятия...

- Что же вы такое сделали?

- Да ничего... В дождь не хотела идти к отцу на могилу... Сороковой день был, мать-то была, после смерти отца, в вступлении ума...

- Так какое же это проклятие, это не считается...

- Я и сама смекаю, что не считается... А зовут так, что с ними поделаешь... Да ну их... Теперь про вас сплетни сплетать начнут?

- Про меня?

- Да, ведь здесь со смерти маменьки ни одного мужчины не было, окромя Кудиныча.

В глазах Глеба Алексеевича блеснул ревнивый огонек.

- Это кто же Кудиныч-то?

- Кудиныч-то, - усмехнулась Дарья Николаевна, заметив выражение глаз своего собеседника, - это такой молодец, что другого не сыскать... Всем взял парень...

- Вот как, - упавшим голосом произнес Салтыков.

- И ростом, и дородством... Аршин до двух кажись дорос, худ как щепка, кудрявый без волос, - захохотала Иванова.

Глеб Алексеевич глядел на нее недоумевающим взглядом.

- Учитель мой... Старый сыч... Про него и сплеток-то даже наши не плетут...

Салтыков вздохнул с облегчением и засмеялся.

– А то ишь как перепугался... Эх, вы, мужчины... Грош вам цена, – продолжала смеяться Дарья Николаевна.

– Я, что же, я не перепугался, я так...

В это время Фимка внесла на серебряном подносе две кружки горячего сбитня и разных домашних варений и сладостей и поставила на стол.

– Не обессудьте на маленьком хозяйстве, – обратилась Дарья Николаевна к Глебу Алексеевичу.

Тот не заставил себе повторять приглашение и с удовольствием стал пить горячую сладкую влагу, действующую успокоительно на его нервы, продолжая беседу с все более и более нравящейся ему девушкой. Фимка быстрым взглядом оглядела их обоих и по разгоряченным лицам собеседников догадалась, что беседа их идет на лад. Она вышла из комнаты, коварно улыбаясь.

Около часу времени просидел Салтыков у Дарьи Николаевны и, наконец, простился и уехал, совершенно очарованный этой «нетронутой натурой», как мысленно он определил Иванову. Последняя проводила гостя и заметила про себя:

«Однако, и он тряпица порядочная, но красив, подлец, видный парень, да и богат, за него замуж пойти незазорно... Соседки-то локти себе объедают от злости... А его, права Фимка, совсем проняло...»

XVI

Сватовство

За первым посещением красенького домика на Сивцевом Вражке Глебом Алексеевичем Салтыковым вскоре последовало второе и третье, и не прошло двух недель, как эти посещения стали почти ежедневными. Он вместе с Дарьей Николаевной посещал театр, даже кулачные бои, вместе они катались на его кровных лошадях. В последнем удовольствии только и сходились их вкусы: и он,

и она были страстными любителями бешеной езды. Что касается остального, то отношения их были странно-своеобразны. Ее отзыв о нем, после первого посещения, как о «тряпице», разрушил часть ее идеала мужчины, сильного не только телом, но и духом, способного подчинить ее своей железной воле, но внутренне, между тем, это польстило ей, с самого раннего детства не признававшей над собой чужой воли, чужой власти. Она со страхом думала о замужестве именно в этом смысле, потере своей воли, подчинении мужу, так как в возможности найти именно такого мужа, который сумеет подчинить ее себе, и который, вместе с тем, будет соответствовать ее идеалу физической красоты мужчины, она не сомневалась...

Этим объяснялось ее разборчивость в выборе, ее «битье по сусалам», ухаживавших за ней франтов Сивцева Вражка, на которых она смотрела сверху вниз, и которые не только терялись перед ней, млели перед ее красотой, но сравнительно с ней были и физически ничтожны, тщедушны и малорослы. Отличенный ею, наконец, Салтыков, хотя тоже млел перед ее физической красотой, но все же был в полном смысле мужчина, взявший и ростом, и дородством, и на нее это его подчинение не производило того впечатления, какое производило подчинение этой «мелюзги», как называла Дарья Николаевна разных, ухаживающих за ней франтов Сивцева Вражка.

Наконец, она пришла к убеждению, чрезвычайно льстившему ее самолюбию, что все мужчины перед умной бабой, каковой она, несомненно, считала себя, просто – тьфу. При этом Дарья Николаевна выразительно плевала. Это, однако, не разочаровало ее в Глебе Алексеевиче, так как она благоразумно решила, что не все же ей сидеть «в девках», оправдывая, таким образом, предсказание ее покойного отца, которое, конечно, ей уже давно сообщили, через ее домочадцев, досужие языки соседей. Она решила остановить на нем свой выбор, тем более, что Глеб Алексеевич ей нравился, что его тихий и ласковый нрав производил во всем ее существе какую-то сладострастную истому. «Крайности сходятся», и эта поговорка всецело оправдалась на Салтыкове и Ивановой.

Необузданный нрав Дарьи Николаевны, чуть не ежедневно проявлявшийся в крутой расправе с прислугой, требовал отдохновения, и она находила его около Глеба Алексеевича, хотя и последний часто претерпевал, подчас более чем сильно, от выходок любимой им девушки. Он, со своей стороны, с каким-то наслаждением любовался этими вспышками или, как он называл их самому себе, проявлениями сильного характера и, не имея этих качеств, ценил их в любимой девушке, тем более, что эта любовь окрашивала все ее выходки, все ее поступки

в особый, смягчающий их резкость цвет. Когда он заставлял Дарью Николаевну «по домашности», он не замечал ее не отличавшегося особенной чистотой платья, он видел только ее стройный, умеренной полноты, соблазнительный стан, ее высокую грудь, и, зачастую, сильно открытую, точно выточенную из мрамора шею. Голова его кружилась, и он с восторгом созерцал свою «Доню», как он мысленно называл ее.

Когда порой он был свидетелем вспышек ее бешеного гнева на прислугу и жестокою с ними расправу всем, что было у нее в руках, скалкой, ухватом, кочергой, то любовался ее становившимися зелеными, прекрасными, как ему, по крайней мере, казалось глазами, ее разгоревшимся лицом. При таком отношении к обворожившей его девушке, понятно, что он влюблялся в нее все сильнее и сильнее. Она не то, чтобы завлекала его, напротив, она его отталкивала, делала вид, что для нее безразличны не только его посещения, но и самое его существование.

Соседи, как и предполагала Дарья Николаевна, после первых же посещений Глеба Алексеевича стали сплетать сплетни, и гораздо ранее, нежели он сделал ей предложение и получил согласие, объявили его ее женихом. Самое предложение им было сделано тоже при весьма оригинальной обстановке.

Однажды, это было недели через три, после описанного нами первого посещения, он приехал в красненький домик как раз в разгар жестокой расправы Дарьи Николаевны с Фимкой, разбившей ее любимую чашку. Удары сильной руки так и сыпались на щеки девушки, из носа которой уже обильно текла кровь, а само лицо сделалось синебагровым. Руки Дарьи Николаевны были тоже запачканы в крови. Глеб Алексеевич, почему-то, симпатизировал Фимке; быть может, это происходило оттого, что встреча с Дарьей Николаевной, сулившая, как он, по крайней мере, предполагал, в будущем ему блаженство, произошла при ней. Он решился вступиться, так как его приезд, по обыкновению, ничуть не остановил Дарью Николаевну, и она продолжала делать свое дело, то есть давать Фимке полновесные пощечины.

– Оставьте, Дарья Николаевна, оставьте, ведь вы ее изуродуете... – решил остановить ее Салтыков.

– Ты чего нос суешь не в свое дело!.. – вдруг, первый раз на «ты» оборвала она непрошеного заступника. – Изуродую, так изуродую, моя девка, а не твоя, купи, хочешь продам, и милуйся с ней, черномазой, любуйся на красоту ее.

Пощечины продолжали сыпаться, но, наконец, Дарья Николаевна, видимо, сама утомилась и, повернув Фимку к себе спиной, дала ей в шею и крикнула хриплым голосом:

- Пошла, мразь!..

Расправа происходила в столовой, где обыкновенно проводила свое время Дарья Николаевна, не любившая парадных комнат, и куда со второго же визита пригласила Глеба Алексеевича. Это была большая комната, выходившая тремя окнами во двор, с большим круглым, раздвижным на шестнадцати ножках столом красного дерева, такого же буфета со стеклами и деревянными крашеными стульями. Глеб Алексеевич сел на один из них, после своего неудачного заступничества. Когда Фимка была вытолкнута, Дарья Николаевна отерла окровавленные руки о платье и обратилась к Салтыкову, все еще вся дрожащая от гнева.

- Ишь, заступник нашелся... И чего ты, сударь, сюда зачастил шляться, сласть какую нашел около меня, што ли, шастаешь чуть не каждый день да еще верховодить у меня вздумал, не в свое дело нос совать...

- Какое же, Дарья Николаевна, верховодить... Я так, пожалел девушку...

- Пожалел девушку, - передразнила его Иванова, - жалей своих девок, а моих не замай, а коли нравится, можете из-за нее и сюда шастаешь, так купи, продам, да и оба убирайтесь с моих глаз долой...

- Что вы это говорите, Бог с вами. Из-за нее сюда езжу. Бог знает, что вы скажете...

- А из-за кого же? Я почем знаю, из-за кого же.

- Да из-за вас, Дарья Николаевна...

- Толкуй, размазывай... Нет, я и впрямь тебя от себя выгоню. Ну те к лешему.

- За что же? - умоляюще взглянул на нее Глеб Алексеевич. Она не обратила внимания на этот взгляд и продолжала:

– Чего, подумаешь, пристал к дому, как муха к меду... Наши горланы итак прокричали: жених, жених... Сегодня жених, а завтра любовник скажут... Не отопрешься, не поверят, хоть решето крестов перецелуй, потому каждый день шастает.

– Оборони Господи и меня, и вас от такого позора...

– Тебя-то чего оборонять... Тебе как с гуся вода... Был молодцу не укор.

– Да неужто я дам на девушку напраслину взводить, позор на ее голову накликать...

– А что же поделаешь? На чужой роток не накинешь платок. А у нас в околотке у баб-то у всех змеиное жало вместо языка болтается...

– И рот замазать можно.

– Ишь, выискался...

Дарья Николаевна уже несколько успокоилась и тоже присела рядом с Глебом Алексеевичем.

– Все от вас зависит...

– От меня... Вот я, признаться, не думала... Она лукаво улыбнулась.

– Ваша воля, – с печалью в голосе сказал Салтыков.

– А ты что надумал?..

Сказанное уже раз в начале «ты», она, видимо, не хотела изменить.

– Позвольте и мне говорить вам «ты».

– Да говори, пес с тобой... Только что же из этого выйдет?

- Да не так, а коли говорят жених, так пусть я и буду жених...

- Хочешь, значит, меня в жены взять?..

- Конечно же хочу...

- А если я не хочу?..

- Коли не люб, так что же с этим поделаешь... Насильно мил не будешь...

Он сидел бледный, с опущенной долу головой.

- Да ну тебя... Ишь, точно мокрый заяц сидишь... Девка зря болтает, а он слушает.

- То есть как зря? - поднял он голову и в его глазах блеснул луч надежды.

- Так, зря; коли бы не люб был, так пускала бы я тебя к себе... Держи карман шире...

- А если люб, так отчего же...

- Чего, отчего же...

- Не хотите замуж за меня идти.

- Да бери, пес с тобой, - вдруг совершенно неожиданно и своеобразно дала согласие Дарья Николаевна.

Он вскочил, схватил ее еще не совсем обсохшие от крови руки и стал покрывать их страстными, горячими поцелуями.

- Ну, тебя, чего руки лижешь... Целуй прямо... - отняла она руки.

Он сжал ее в своих мощных объятиях и впился в ее полные, красные губы продолжительным поцелуем. Она отвечала ему таким же поцелуем, но вскоре

вырвалась от него и оттолкнула от себя со словами:

- Ишь, присосался...

Он скорее упал, нежели сел на стул и откинулся на спинку. Голова его кружилась, в глазах вертелись какие-то красные, то зеленые круги. Когда он очнулся, Дарья Николаевна сидела около него и смотрела на него полунасмешливым взглядом.

- Ишь тебя, как говорит Фимка, проняло... Ну, целуй еще раз, коли так уж сладко...

- Доня, дорогая Доня, как я счастлив! - воскликнул он, обвив ее стан рукой и привлекая ее к себе.

- Нашел тоже счастье... Злющую девку за себя замуж берет... Может я тебя, неровен час, как Фимку, отколошматю.

- Колошмать, колошмать, Доня, Донечка, прелесть моя ненаглядная!

- Ну, ну, целуй, пока не бью...

Их губы снова слились в долгом поцелуе.

В этот же день вся дворня красненького домика знала, что барышня Дарья Николаевна невеста «красивого барина», как прозвали Салтыкова. Фимка, умывшая свое окровавленное лицо со свежими синяками и кровоподтеками на нем, узнав, что решилась судьба ее любимой барышни, бросилась целовать руки у нее и у Салтыкова. Она, видимо, совершенно забыла только что нанесенные ей побои и на лице ее написано было искреннее счастье.

- Ну, Фимка, так и быть, даю слово, в честь нынешнего дня, больше бить тебя не буду, - с непривычною мягкостью в голосе сказала ей Дарья Николаевна.

- И что вы, матушка-барышня, бейте, только от себя не гоните, - отвечала та.

Тетушка Глафира Петровна

Тетушка Глеба Алексеевича, Глафира Петровна Салтыкова, жила у Арбатских ворот. В Москве, даже в описываемое нами время, а не только теперь, не было ни Арбатских, ни Покровских, ни Тверских, ни Семеновских, ни Яузских, ни Пречистенских, ни Серпуховских, ни Калужских, ни Таганских ворот, в настоящем значении этого слова. Сохранились только одни названия.

Однако, в описываемый нами 1749 год у Арбатских ворот стояла башня, сломанная в 1792 году. Арбатские ворота богаты многими историческими преданиями.

Когда в 1440 году царь казанский Мегмет явился в Москву и стал жечь и грабить первопрестольную, а князь Василий Темный заперся со страху в Кремле, проживавший тогда в Крестовоздвиженском монастыре (теперь приходская церковь) схимник Владимир, в миру воин и царедворец великого князя Василия Темного, по фамилии Ховрин, вооружив свою монастырскую братию, присоединился с нею к начальнику московским войск, князю Юрию Патрикеевичу Литовскому, кинулся на врагов, которые заняты были грабежом в городе. Не ожидавшие такого отпора, казанцы дрогнули и побежали. Хорвин с монахами и воинами полетел в догонку за неприятелем, отбил у него запертых жен, дочерей и детей, а также и бояр и граждан московских и, не вводя их в город, всех окропил святою водою у самых ворот Арбатских. Кости Ховрина покоятся в Крестовоздвиженском монастыре.

Другой, подобный случай у Арбатских ворот был во время междуцарствия, когда польские войска брали приступом Москву. У Арбатских ворот командовал отрядом мальтийский кавалер Но-водворский. Отважный воин и его молодцы с топорами в руках вырубали тын палисада. Работа шла быстро. С русской стороны, от Кремля, защищал Арбатские ворота храбрый окольный Никита Васильевич Годунов. Раздосадованный враг начал действовать отчаянно. Наконец, сделав пролом в предвратном городке, достиг было самых ворот, но здесь Новодворский, прикрепляя петарду был тяжело ранен из мушкета. Русские видели, как его положили на носилки, как его богатая золотая одежда вся обагрилась кровью, как его шишак, со снопом перьев, спал с головы и открыл

его мертвое лицо. Вслед за ним Годунов кинулся со своими молодцами на врагов, и поляки, хотя держались в этом пункте до света, но, не получая подмоги, поскакали наутек. На колокольне церкви Бориса и Глеба ударил колокол, и Годунов пел с духовенством благодарственный молебен.

В 1619 году к Арбатским воротам подступил и гетман Сагай-дачный, но был отбит с уроном. В память этой победы сооружен был придел в церкви Николая Явленного, во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Основания этой церкви, как полагает Ив. Снегирев, относится к XVI столетию, когда еще эта часть Москвы была мало заселена и называлась «Подем». В описываемое нами время, церковь эта была окружена каменной оградой с башенками и видом своим походила на монастырь.

Против этой-то церкви и стояла обширная усадьба Глафиры Петровны Салтыковой. Мы назвали ее дом усадьбой, ввиду громадности занимаемого им места. Со стороны Арбатской площади, кстати сказать, отличавшейся в то время, весной и осенью, невылазной грязью, усадьба отделялась массивной деревянной решеткой, с решетчатыми же воротами, и через эту решетку виднелся обширный двор, в глубине которого стоял громадный барский, одноэтажный дом, окрашенный в темносерую краску, и по фасаду имевший четырнадцать окон, с темнозелеными ставнями. Крыша была выкрашена в темнокрасный цвет, с левой стороны выпячивалось огромное деревянное парадное крыльцо, тоже окрашенное в серую краску, и, кроме того, по стенам его, как снаружи, так и изнутри, были нарисованы, видимо, рукой доморощенного живописца, зеленые деревья, причем и стволы, и листья были одинакового цвета, не говоря уже о том, что в природе такой растительности, по самой форме листвы, встретить было невозможно. За домом далеко тянулся вековой сад, а на обширном дворе, с обеих сторон барского дома, было множество служб, людская, кухня, соединенная с домом крытой галереей, прачечная, сараи, конюшни, ледники и амбары. Парадные комнаты, обширные и многочисленные, были отделаны и меблированы с возможною роскошью того времени; массивная, золоченная мебель, бронза, ковры, все указывало на громадное богатство их владелицы. Они открывались, однако, только в дни приемов, балов и вечеров, которые были довольно часто, так как Глафира Петровна жила открыто и любила общество.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купити: https://tellnovel.com/geynce_nikolay/lyudoedka

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)